

Михаил Николаевич Загоскин

**Три жениха.
Провинциальные очерки**

Повесть «Три жениха» впервые напечатана в составе
сборника «Повести Михаила Загоскина» (1837)

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0034
III.....	.0069
IV.....	.0100
V.....	.0116



Михаил Николаевич Загоскин
Три жениха
Провинциальные очерки

Тому назад, — так точно, — не более двух или трех лет... Но прежде, чем я расскажу вам эту повесть, мне хочется спросить вас, жила ли вы когда-нибудь в провинции? Не в деревне, не в маленьком уездном городке, но в губернском городе, — среди людей, которые говорят с гордостью, и почти всегда на французском языке, о своем большом свете, о своем хорошем и дурном тоне, даже о разных кругах, на которые разделяется их общество? Если вы никогда не жили в этих, подчас довольно забавных, образчиках нашей матушки Москвы белокаменной, и желаете знать хоть поверхностным образом, что такое провинциальный город, не двадцать лет тому назад, но теперь, в наше время, — так слушайте.

Далеко отсюда в низовом губернском городе в Дворянской улице, — почти в каждом губернском городе есть улица, которую зовут «Дворянскою», — возвышается крытый железом двухэтажный кирпичный дом, на самом том месте, где года два тому назад вросли в землю деревянные хоромы, выстроенные, как

говорят старики, еще до Пугачева. Они тянулись в длину сажен шестнадцать, не считая двух подъездов с холодными сенями и небольшой пристройки, в которой помещалась русская баня с двумя предбанниками. Этот дом занимал всю глубину обширного двора, который с двух сторон был застроен развалившимися службами, а с третьей отделялся от улицы почерневшим от времени решетчатым забором. Сзади к самому дому примыкал большой плодовый сад, поросший высокой травой и почти непроходимый от бесчисленного множества кустов колючего крыжовника, барбариса и смородины. Разумеется, эти хоромы не были ни окрашены, ни обшиты тесом, и на дощатой их кровле росла преспокойно мурава шелковая и пробивались кой-где украдкою цветы лазоревые.

Однажды вечером в начале мая месяца, который, несмотря на восторги наших поэтов, почти всегда хуже апреля, погода стояла самая осенняя, дождь лил как из ведра, и хотя еще не было восьми часов, однако на дворе сделалось так сумрачно, что в одном из окон описанных мною развалин замелькал огонек.

Он светился в диванной, в которой хозяйка, пожилая вдова, статская советница Анна Степановна Слукина, сидела за ломберным столом и раскладывала гран-пасьянс; насупротив ее, расположась покойно в широких креслах и понюхивая табак из огромной серебряной табакерки, сидел человек лет шестидесяти в коричневом долгополом кафтане, с бронзовою медалью в петлице и в черных плисовых сапогах. К ним спиною, подле растворенного окна, стояла миловидная девушка лет семнадцати в простом белом платье. Широкий пояс со стальною пряжкой обхватывал гибкий стан ее; светло-русые волосы, завитые и убранные á l'enfant[1], рассыпались густыми кудрями по ее плечам, полным и белым, как пушистый снег в перевозимье. Попробую, удастся ли мне описать вам наружность хозяйки. Не совсем еще увядшее лицо высказывало не более сорока пяти лет. Большие черные глаза, довольно правильные черты, прекрасный цвет лица — все это заставило бы подумать каждого, что она была некогда очень хороша собою; но вот беда — эти большие черные глаза походили на красивые фо-

нари без свеч, а румяное ничего не выражающее лицо ее было просто

Бело и красно, —
И точно херувим на вербе восковой!

Впрочем, я ошибся, сказав, что лицо ее ничего не выражало: нет, в нем заметно было беспрестанное усилие казаться «горькой, беззащитной вдовою», какое-то подленькое приторное смирение, едва прикрывающее невежественную спесь и чванство провинциальной барыни пятого класса. Эта беззащитная вдова успела, по собственным словам ее, — при помощи господ бога и добрых людей, — укрепить за собою две тысячи душ покойного своего супруга, выиграть три процесса, пустить по миру несколько сирот, разорить вконец родного брата и выплакать себе шестьсот рублей пожизненного пенсионера.

Самый пошлый мадригал щеголя Демутье, столкнувшись нечаянно с самой высокой творческой мыслью великого Ньютона или Гердера, не представил бы такой резкой противоположности, какую представляло почти

безобразное лицо пожилого господина в коричневом кафтане с румяным и правильным лицом хозяйки: огромный нос Николая Ивановича Холмина, — так звали этого гостя, — его изрытые оспой багровые щеки, его узкие калмыцкие глаза, крутой лоб, покрытый морщинами, и в то же время ум и веселость, которые блистали в его маленьких серых глазах, и улыбка по временам насмешливая, но всегда добродушная, и приятный звук голоса, и то, чему нет названия, — это неизъяснимое *что-то такое*, что пленяет нас с первого взгляда, — все это вместе составляло одну из тех загадочных физиономий, которые нравятся, не спросясь у эстетики и вопреки всем условным понятиям о красоте и безобразии человеческом.

— Опять не вышло! — сказала Анна Степановна, бросив с досадою карты, которые остались у нее на руках. — А все этот проклятый валет! Нейдет, как нейдет!.. Эй, девка!.. Дашка, поди сюда, подыми платок! Возьми, положи карты в комод, в третий ящик!.. Да что это, мать моя, — никак в корсете? Смотри пожалуй, уж и они стали затягиваться!.. Эй,

мальчик! Сними со свечи... Дурак, чуть не погасил!.. Варенька!

Девушка в белом платье вздрогнула и обернулась торопливо к своей мачехе.

— Ну что, мой друг, — продолжала Анна Степановна, — дождик перестал?

— Перестал, маменька!

— Так на дворе прочистилось?

— Прочистилось, маменька!

В эту самую минуту проливной дождь загудел сильнее прежнего, и в соседнем покое вода, пробив оштукатуренный потолок, с шумом полилась на пол.

— Помилуй, матушка, — вскричала Анна Степановна, — дождь ливмя льет, а ты говоришь!.. Да что ты, ослепла, что ль? Эй, мальчик! Андрюшка!.. Ну, что стоишь? Ведро в гостиную! Подставить там, где протекло. Да верно на чердаке нет ушатов? Вот я вас, разбойники!.. То-то вдовье дело! Обо всем изволь сама думать... Смотри, пожалуй, — прочистилось, дождь нейдет! Да чего ж ты в окно-то смотрела, сударыня?

Варенька вспыхнула и не отвечала ни слова, а гость, как будто бы не нарочно, повер-

нулся и взглянул на окно, подле которого она стояла. Прямо через улицу в небольшом домике мелькал огонек и хотя слабо, но вполне освещал гусарский кивер, небрежно кинутый на окно. Николай Иванович улыбнулся.

— Что это, Анна Степановна, — сказал он, обращаясь к хозяйке, — никак против вашего дома военный постой?

— Да, Николай Иванович! Вон в том домике дней пять тому назад отвели квартиру гусарскому офицеру... как бишь его?.. Дай бог память!.. Да! Тонскому!

— Александру Михайловичу? Отличный молодой человек!

— И, батюшка! Да что ж в нем отличного? Конечно, собой он молодец изрядный; говорят, не пьет, в карты не играет. Да и то сказать, что ему, сердечному, проигрывать? Ведь, чай, за ним души нет христианской: гол, как сокол; а как поглядишь иногда, так, Господи Боже мой, весь облит золотом! Ну, право, фунта три выжиги будет! А небось, дома перекусить нечего. Вот то-то и есть! Служил бы себе, да служил в пехоте. Так нет, все в гусары лезут!

— Он не так беден, как вы думаете. Его дядя, Александр Алексеевич Тонский, оставил ему небольшое, но прекрасно устроенное имение.

— Право? А сколько душ, батюшка?

— Конечно, немного. Душ тридцать...

— Тридцать душ! И ты, Николай Иванович, называешь это имением?

— Да они дают без малого две тысячи рублей в год доходу.

— Две тысячи? Ну, батюшка, подлинно несметное богатство!

— Нельзя же всякому, как вам, Анна Степановна, иметь тысяч пятьдесят в год доходу. Разумеется, в сравнении с вами, Тонский беден, но зато какой образованный, воспитанный малый...

— Да, Николай Иванович, что правда, то правда: воспитан хорошо, знает себя и разумет других. Вот хоть со мной: всегда обходится весьма политично — и, нечего сказать, услужлив! Прошное воскресенье, кабы не он, так не знаю, что было бы со мною: на руках вынес из собора.

— А что такое с вами было?

— Вот что, батюшка, Николай Иванович. Я прошлое воскресенье была, как следует всякой христианке, у обедни в соборе; сам преосвященный изволил служить, и хоть в трапезе было довольно просторно, но зато в настоящей, а особливо кругом амвона, и сказать нельзя, что за давка была. Ну нельзя же, мой отец, статской советнице стоять позади Бог весть кого! Вот я, где бочком, где локотками, продралась и стала впереди. Тесно, батюшка, душно, а делать нечего — стою! Вот, под конец голова стала у меня кружиться, и начало в глазах зеленеть, — а я все-таки стою! Когда преосвященный вышел с крестом, я, пропустя мимо себя губернаторшу, хотела было по моему чину вслед за нею, как вдруг откуда ни возьмись дворянская предводительница, — шмыг из-под меня, да шась первая ко кресту! Коллежская ассессорша!.. Ну, батюшка, хоть я и беззащитная вдова, хоть за меня, круглую сироту, вступиться некому, а уж не стерпела бы я ни от кого такого афронта, и если б это было не в соборе, так подняла бы такую аларму, что и Боже упаси! А тут, — делать нечего, — смолчала; да уж каково-то было моей ду-

шеньке! Начало меня подергивать, подкатилось к сердцу, схватило удушье, и если б не подвернулся этот Тонский, дай Бог ему здоровье, так я бы со всех ног грянулась о пол.

— Знаете ли, Анна Степановна, — сказал Холмин, помолчав несколько времени, — что если б Александр Михайлович Тонский был побогаче, так этакого жениха поискать!

— Да, если б у него было тысяч тридцать в год дохода.

— Погодите, будет и больше. Он отличный офицер, служить охотник и пойдет далеко.

— Статься может, батюшка! Да ведь это еще буки.

— Я уверен, что и теперь любая невеста в нашем городе за него пойдет.

— Любая не любая, а может быть и найдутся охотницы. Ведь дураков и дур везде много, Николай Иванович! Их не орут, не сеют — сами рождаются.

— Знаете ли что? — продолжал Холмин вполголоса. — Я иногда думаю — что, если б вышла за него ваша Варвара Николаевна?

— Что, что, батюшка?

— То-то была бы парочка!

— Эх, Николай Иванович, охота тебе такой вздор говорить!

— Почему же вздор? Он не богат, зато у вас прекрасное состояние.

— Что ты, что ты? Перекрестись, батюшка! Тридцать душ!.. Да этак всякий однодворец жених моей падчерицы.

— Так, Анна Степановна, так, не спорю: по состоянию Тонский не жених Вареньке; но если б он успел ей понравиться...

— Что? Понравиться?.. Без моего ведома?.. Да если б она смела подумать об этом! Если б только заикнулась! Да сохрани ее, Господи! Да разве она может выступить из моей воли? Разве не я ее опекунша? Да хоть бы за нее вся родня вступилась! Да хоть бы сам покойник встал из гроба!..

— Ну, полноте, матушка, полноте, не сердитесь! Ведь это один только разговор.

— Добро бы еще он был в чинах — четвертого или пятого класса; а то простой офицерик, нищий... Да чему же ты смеешься, батюшка?

— А тому, что мне удалось вас рассердить. Эх, матушка, Анна Степановна, ну как вы мог-

ли подумать, чтоб я стал сватать не шутя вашу Вареньку, мою крестную дочь, за какого-нибудь гусарского поручика с тридцатью ревизскими душами, потому только, что он умен, молодец собою и добрый малый?

— Ну то-то же, мой отец! А то было я совсем перепугалась. Да и я дура: как будто бы не знаю, что ты всегда подшучиваешь. А мне бы надобно с тобой о серьезном поговорить, батюшка, да вот видишь ты какой — опять начнешь балагурить! Варенька, что ты, мой друг, иль забыла, что мы сегодня с визитами едем! Поди, матушка, надень свое гриделенное платье... Ну, что стоишь? Ступай, сударыня!.. Теперь, Николай Иванович, поговорим-ка о деле.

— Поговоримте, Анна Степановна.

— Ох, дети, дети! — продолжала хозяйка, смотря вслед за уходящей Варенькой. — Сколько с ними горя и хлопот! Вот говорят, мачехи не заботятся о своих падчерицах: неправда, мой отец! Видит Господь Бог, — только и думаю о том, как бы пристроить Вареньку. Ты человек умный, батюшка, — посоветуй мне; что ты, родной мой, скажешь, так

тому и быть.

— Даже и тогда, Анна Степановна, когда мой совет будет не согласен с вашей волею?

— И, батюшка! Да разве у меня есть какая-нибудь воля? Что скажут добрые люди, то и делаю. Вот изволишь видеть: твоя крестная дочка уж на возрасте.

— А что, разве вы хотите ее выдать замуж?

— Пора, мой отец. Ведь уж ей скоро семнадцать лет.

— Да это что еще за года, Анна Степановна!

— Полно, полно, Николай Иванович! Я сама по четырнадцатому году за первого мужа вышла замуж — так что тут говорить! Да и не об этом речь.

— А что, разве кто-нибудь сватается?

— Кто-нибудь! — повторила с гордой улыбкой хозяйка. — Нет, батюшка, — продолжала она, поправляя свой чепец, — женишки-то давно уже около нас увиваются, и в старину бы мне от свах отбою не было. Вот теперь дело другое: за это ремесло взялись наши сестры дворянки. Да полно, лучше ли? Бывало от свахи узнаешь всю подноготную, отберешь все до копейки и коли заметишь, что она на-

чала лисой лисить да переминуться, так ее, голубушку мою, в три шеи со двора долой: ведь дело-то было торговое. А теперь, прошу покорно: сама губернаторша приедет сватать; с ней много говорить не станешь, — верь на честное слово. «У такого-де, сударыня, тысяча душ, да столько-то доходу, да то, да се». А попробуй сказать: «Нельзя ли матушка, ваше превосходительство, документики сообщить?» — так пойдут истории, претензии, расстанешься навсегда домами, и нашей сестре, беззащитной вдове, от этой губернаторши и всех ее прихвостниц житья не будет.

— А что, разве губернаторша делала вам предложение?

— Вот то-то и есть, батюшка! Она говорила мне о своем племяннике.

— Об Иване Степановиче Вельском?

— Да, Николай Иванович! Я уж давно заметила, что этот отставной камер-юнкер имеет виды на мою Вареньку. Конечно, он человек порядочный, — с лишком тысяча душ, прекрасный дом, отличная услуга, музыка, — все это хорошо; да вот о чем его тетушка не рассудила со мной распространиться: говорят, что

у него до пятисот тысяч рублей долгу, так это почти все равно, что он ничего не имеет.

— Следовательно, вы ему отказали?

— Уж тотчас и отказать! Погоди, батюшка; пусть посватается порядком. Ведь его тетушка стороной только мне об этом намекала. Вот как он сделает формальное предложение и весь город будет знать, что он ищет в Вареньке, так успею еще и тогда. Небольшая беда, если станут говорить, что у нее много женихов было.

— Так какого же, матушка, вы просите у меня совета?

— А вот постой, мой отец: это еще один жених.

— А кто ж другой?

— Алексей Андреевич Зорин.

— Председатель гражданской палаты?

— Да, батюшка.

— Пожилой вдовец...

— Да, батюшка.

— С большой семьей...

— Так что ж?

— Да кстати ли ему свататься за Вареньку? Она ему в меньшие дочери годится.

— Это ничего, Николай Иванович! И мой покойник был вдвое меня старше. Да вот что худо: ведь у него наследственного имения нет, а все благоприобретенное куплено на имя покойной жены; так он из него только и может взять законную седьмую часть, то есть много-много душ сто. Конечно, он человек умный, — нажил бы еще; да времена-то не те, батюшка: ко всему придираются! Судья возьмет по дружбе какой-нибудь подарочек, а его назовут взяточником. Не бери ничем: ни деньгами, ни натурой; да этак скоро вовсе служить нельзя будет!

— И, матушка Анна Степановна, ну что Господа Бога гневить! И теперь еще так-то себе деревеньки и домики наживают, что на по-ди!

— Да, небось, ты скопил именьице? Шесть лет был дворянским предводителем, сколько раз заседал в рекрутском присутствии — а что нажил?

— Да покамест честное имя, Анна Степановна.

— Честное имя! Да ведь честное имя доходу не дает; его ни продать, ни в опекунский

совет заложить нельзя; так с ним далеко не уедешь. А сверх того, вы все честные люди — гордецы, а гордым Бог противится... Ну, что ухмыляешься?

— Радуюсь, матушка Анна Степановна, что вы так хорошо знаете и так ловко толкуете священное писание.

— Да что об этом говорить! Всякий молодец на свой образец. Скажи-ка лучше, что мне делать? Я сама вижу, что Зорин не жених Вареньке.

— Так откажите ему.

— А про мое тяжёбное дело-то, батюшка, ты, верно, забыл?

— Нет, помню. Так что ж?

— А то, что коли испортят его здесь в палате, так еще Бог весть, поправишь ли в Москве. Нет, мой отец, успею ему отказать и тогда, как дело будет решено в мою пользу.

— Ну вот уж два жениха забраковано. Нет ли еще третьего?

— Есть, Николай Иванович, есть женишок! Да и дело-то почти совсем слажено.

— Вот что! Как же мне Варенька ничего об этом не намекнула?

— Да она еще сама не знает.

— Право? Так вы заранее уверены, что этот жених ей понравится?

— Как ему не понравиться, батюшка? Ведь у него — легко вымолвить — четыре тысячи душ.

— Четыре тысячи? Так это...

— Князь Владимир Иванович Верхоглядов. Что, батюшка, каков женишок?

— Да хорошо ли вы знаете этого человека?

— Я знаю, батюшка, наверное, что у него четыре тысячи душ и ни копейки долгу.

— Конечно, после этого и говорить нечего. Вот если бы у него не было ста тысяч в год доходу...

— Полтора ста, батюшка.

— Неужели?.. Смотри, пожалуй! Так что ж это говорят, будто он самый пустой человек; будто у него нет никаких правил; будто он на словах сумасшедший либерал, а на деле трехбунчужный паша; будто он толкует беспрестанно о потребности века, о вышних взглядах, о правах человечества... и разоряет своих крестьян; будто у него давно уже ум за разум зашел и что, рано или поздно, ему не мино-

вать опеки?

— И, что ты, мой отец! Да разве отдают под опеку людей, у которых полтора ста тысяч в год доходу и ни копейки долгу?

— Вот то-то и есть. Говорят также, что будто бы у него такой причудливый и скверный характер, что с ним ужиться нет никакой возможности.

— Вздор, батюшка, вздор! То же самое говорили и про моего покойника; да ведь жили же мы кое-как? Ну, конечно, как без того: бывало, пошумим, погрыземся, а все-таки он, дай Бог ему царство небесное, сделает, так сделает по-моему. Нравный муж не беда, мой отец; лишь только не поддавайся да кричи громче его, так все пойдет своим чередом.

— Правда, Анна Степановна, правда; это самый лучший способ жить в ладу с мужем. Дурака запугаешь, умному надоешь, так и тот и другой будут поневоле делать все, что жена захочет. Да Варенька-то, кажется, у нас не такого характера: она уступчива, добра, самого кроткого нрава...

— Переменится, мой отец, переменится. Ведь нужда чему ни научит!

— Конечно, Анна Степановна, конечно. Да и материнские ваши советы, быть может, на нее подействуют. Так это дело кончено; племяннику губернаторши Вельскому...

— Я ничего решительного не сказала; однако же, признаюсь, надеждою польстила.

— Председателю палаты Зорину...

— Его поневоле приголубиваю, батюшка, вот так изредка намеки делаю, обиняки говорю.

— А князю Владимиру Ивановичу Верхоглядову?

— И ему еще формального слова не давала.

— То есть, вы обнадежили разом трех женихов?

— Эх, батюшка, батюшка, да когда же мне и поломаться-то, как не теперь? Пока я не совсем еще порешилась, так мне житье-то славное. Посмотри в собрании, на балах, кому такой почет, как мне? Один слугу отыщет, другой салоп подаст, третий с лестницы сведет — не успеешь откланиваться. А как в вистик-то с ними засяду, батюшка, в вистик! Житье, да и только! Ренонс сделаю — никто не видит; без двух фигур сочту четыре оне-

ра — молчат. И даже этот скопидом Зорин не заикнется сказать, что я ошиблась. А уж об этом не говорю, сколько других прочих мелких женишков мне в глаза-то забегают: ну так и рвутся один перед другим, чтоб мне услужить!

— Не спорю, Анна Степановна, теперь вам весело; да весело ли будет тогда, как женихи узнают, что вы их дурачили?

— Так что ж, батюшка? Посердятся, посердятся, да будут таковы. Один Алексей Андреевич Зорин мог бы мне хлопот наделать, если б узнал об этом; да, к счастью, дело мое слушают на будущей неделе. Ты сам знаешь, батюшка, резолюции переменить нельзя; так что ж мне помешает тогда выдать Вареньку за князя Владимира Ивановича?

— Хорошо разочтено, Анна Степановна! Вы только забыли одно, что от этого может пострадать репутация вашей дочери.

— А это как, батюшка?

— Да так: станут говорить, что Варенька сама заводила всех женихов, что она с ними кокетничала, обманывала с вами заодно. Мало ли что злость может придумать!

— Помилуй, да с чего бы это взяли?

— Знаю, Анна Степановна, что в этом и на волос не будет правды; но зачем давать повод к злословию? Ведь клевета как уголь — не обожжет, так замарают.

— И, полно, мой отец! Стану я бояться всех людских речей. Да мало ли что и про меня грешную говорили: и обобрала-то я покойного моего мужа, и пустила по миру родного брата, да и бог весть что! Всего, батюшка, не переслушаешь. А, вот и Варенька! Ну что, оделась, мой друг?.. Побудь покамест с твоим крестным, а я пойду и сама принаряжусь. Пора ехать с визитами.

Варенька, оставшись одна с крестным отцом своим, села подле него и, не говоря ни слова, не смея поднять глаза, перебирала в руках концы своего газового эшарпа. Щеки ее то пылали, то покрывались бледностью. Холмин также молчал. Он смотрел с нежностью и приметным состраданием на бедную девушку, которая несколько раз пыталась начать разговор, но каждый раз чувствовала такое сильное замирание сердца, что слова исчезали на устах ее.

— Бедненькая! — сказал, наконец, Холмин, положив руку на ее плечо.

Варенька подняла глаза, взглянула робко на своего крестного отца и бросилась к нему на шею.

— Ну что, мой крестный папенька? — прошептала она едва слышным голосом. — Говорили ли вы?

— О чем, мой друг?

— Ну... о том.

— О том? — повторил с улыбкою Холмин. — Нет, мой ангел, я ничего не говорил о том.

— Неправда! Вы что-то говорили; я слышала сама, что вы называли его по имени.

— Да о ком ты говоришь, Варенька?.. Ну полно, полно, не гневайся! Да, мой друг, я говорил об нем.

— Ну что ж маменька?

— И слышать не хочет.

— Ах, Боже мой!

— Она решилась выдать тебя замуж за князя Владимира Ивановича...

— Что вы говорите? — вскричала с ужасом Варенька.

— Чего ж ты испугалась, мой друг? Не бойся, на святой Руси насильно никого не венчают. Послушай, моя душа. Ты уж не ребенок и должна иногда думать о будущем. Ты любишь Тонского, и он достоин этого счастья. Но у князя полтораста тысяч в год доходу, а Тонский почти ничего не имеет. Ты также, мой друг, без всякого состояния, или, что почти одно и то же, оно совершенно зависит от твоей мачехи. Покойный твой батюшка был человек истинно добрый, но под старость так ослабел и телом и душою, что не имел решительно собственной своей воли. Ты знаешь, Варенька, что всем его имением владеет по жизни Анна Степановна и что хотя по духовной покойного ты имеешь право требовать в приданое за собою тысячу душ, но только тогда, когда выйдешь замуж за того, кого она сама назначит; в противном случае одно только добровольное ее прощение может возвратить тебе это право. Теперь ты видишь, мой друг, что у тебя ничего нет. Анна Степановна никогда не согласится выдать тебя замуж за Тонского и никогда не простит тебя, если ты выйдешь за него против ее воли.

— Ах, Боже мой! Да какая ей прибыль, если я выйду за этого князя?

— Пребольшая, мой друг. Засадить тебя вечно в девках она не может; это было бы уже слишком явным и слишком гнусным доказательством ее жадности. Ты сирота: правительство может взять тебя под свою защиту, а сверх того — и самые бездушные люди боятся общего мнения. Князь Владимир Иванович берет тебя без приданого; я это знаю, хотя почтенная Анна Степановна заблагорассудила умолчать об этом, говоря со мною. Теперь видишь ли, мой друг...

— Так что ж? — перервала с живостью Варенька. — Неужели вы думаете, что Тонский не откажется также от моего приданого?

— О, я не сомневаюсь в этом!..

— И разве богатство может сделать наше счастье?

— Не о богатстве речь, мой друг. Полтораста тысяч в год доходу не сделают тебя ни на волос счастливее, но бедность... Ах, Варенька, Варенька, мы живем не в Аркадии! Куст розанов, шалаш и милый друг — все это прекрасно в романсе, который ты поешь, сидя за фор-

тепиано; но в шалаше и холодно и тесно; розы цветут только весною; милый друг не вечно будет ворковать подле тебя; он захочет есть, ты также; а там — семья, дети... Нет, мой ангел, если счастье наше не всегда бывает следствием хорошего состояния, по крайней мере оно помогает нам сносить терпеливее все житейские горести и напасти, которые при бедности становятся еще несноснее. Подумай хорошенько: если ты выйдешь за князя, то все желания твои, все прихоти будут исполняться. Ты очень молода, мой друг: тебя еще, без всякого сомнения, пленяют и щегольской экипаж, и модные платья, и тысячи других блестящих безделок, которые стоят так дорого, хотя и не служат ни к чему. Придет время, когда все это тебе надоест, не спорю; но пока еще лета и горький опыт не отучат тебя забавляться этими игрушками взрослых людей, ты станешь тосковать об них. Сколько раз ты будешь плакать от зависти и досады, сравнивая свой простенький московский бур-де-суа с каким-нибудь колокольцовским платком или турецкой шалью прежней твоей подруги. Встречая на каждом

шагу знакомых, которые станут давить тебя своим богатством и роскошью, ты поневоле сделаешься подозрительной: дружба богатых людей будет тебе казаться обидным покровительством, а каждое ласковое слово милостынею, которую подают тебе из сострадания. Что, если тогда встревоженное твое самолюбие и эта тяжкая необходимость отказывать себе почти во всем расхолодят прежнюю любовь твою? Что, если ты начнешь горевать о том, что не вышла за богатого князя, и бедный муж твой отгадает, наконец, причину этой горести?..

— Муж мой? — прервала с жаром обиженная девушка. — Тот, кого выбрало мое сердце? И вы можете так дурно думать о вашей крестной дочери? Щегольской экипаж... Турецкая шаль... Боже мой!.. Да, и я стала бы плакать о турецкой шали, если бы в ней показалась милее моему мужу! И я стала бы завидовать богатому экипажу, когда бы могла им потешить моего мужа; но желать всего этого для себя, грустить, что богатый муж не закутает меня, как куклу, в турецкие шали; горевать о том, что я не принадлежу этому князю, которого

ненавижу... Да, да... ненавижу!..

— Да за что же, мой друг?

— За то, что он хочет быть моим мужем! И вы могли мне советовать?..

— Я ничего тебе не советую. Когда дело идет об участи целой жизни, тогда трудно, мой друг, советовать. Впрочем, если любовь твоя к Тонскому не одно только минутное предпочтение, не какая-нибудь романическая, безотчетная страсть, но искренняя, душевная привязанность, то, без всякого сомнения, с ним и бедность будет для тебя счастьем. Но прежде, чем ты решительно откажешься от супружества, которое свет стал бы называть блестящим, я должен был описать тебе все невыгоды твоего замужества с человеком небогатым. Тебе самой никогда бы не пришло в голову и подумать о вашем будущем домашнем быте, о необходимом прожитке, о расходе и приходе, одним словом, о всем том, что господа поэты называют земным и прозаическим, но без чего и поэзия становится подчас прескучною прозою. Теперь я исполнил мою обязанность, и если непрерывные лишения и бедность тебя не пугают, если

любовь точно может для тебя заменить все, вот тебе рука моя — ты будешь женою Тонского. Я не богат, Варенька, но все, что имею, будет принадлежать вам... Не благодари меня, мой друг! Я был искренним приятелем отца твоего и люблю тебя, как родную дочь. Покойный твой батюшка, умирая на руках моих, по видимому раскаялся в своем необдуманном поступке: но духовной переменить было уже невозможно. За несколько минут до своей кончины он крепко сжал мою руку и устремил свой потухающий взор на твой портрет, который висел над его изголовьем. Он не мог уже говорить, но я понял его, — и мой бедный, обманутый друг умер спокойно; он знал, что дочь его не останется круглой сиротой...

Варенька опустила голову на плечо крестного отца своего и горько заплакала.

— Полно, полно, мой друг! — сказал Холмин. — Ты и так довольно погоревала. Ба, ба, ба, да никак и я расплакался? — продолжал он, утирая глаза. — Куда мне это должно быть к лицу!.. Послушай, мой друг. Хороший генерал никогда не считает себя побитым до тех пор, пока не истощит всех средств, чтобы вы-

рвать победу из рук неприятеля. Ты выйдешь за Тонского, это решено; но если в то же время и состояние ваше будет обеспечено, так, кажется, это ничего не испортит.

— Да вы сами говорите, что Анна Степановна никогда не согласится...

— Без всякого сомнения, не согласится. Но дело не в том, чтоб она была твоей посаженою матерью, а только бы после свадьбы вас простила. У меня кой-что бродит в голове. Что, если бы?.. Почему же нет! А как бы это было забавно! — промолвил Холмин, и глаза его, выражавшие за минуту глубокую чувствительность, заблестали веселостью. — Но вот, кажется, Анна Степановна кончила свой туалет, — продолжал Николай Иванович. — Вы едете сегодня с визитами, я также сделаю завтра поутру несколько визитов, и может быть... Но вперед загадывать нечего. Прощай, Варенька. Прощай, мой друг!

На другой день Николай Иванович Холмин, часу в десятом утра, надел свой коричневый кафтан, накрыл голову белым пуховым картузом и, опираясь на высокую «натуральную» трость с костяным набалдашником, отправился пешком сначала в дом председателя гражданской палаты Алексея Андреевича Зорина. Но прежде, чем я открою читателям причину его посещения, мне должно их предупредить, что, вместо рассказа, я намерен предложить им для прочтения несколько отдельных драматических сцен из этой комедии, которую мы называем «общественною жизнью» и которая, глядя по тому, как на нее смотришь, и забавна и скучна, и смешна и печальна, а иногда, — не погневайтесь, — не только вовсе не утешительна, но даже гадка и возмущает душу. Может быть, я ошибаюсь; но мне кажется, что эта глава будет менее утомительна, если я дам ей форму совершенно драматическую. А посему, прерывая мой рассказ, прошу почтенных читателей превратиться в почтеннейших зрителей и вообра-

зять, что перед ними театральный помост, на котором происходит нижеследующее:

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Довольно опрятная комната, оклеенная зелеными обоями. По стенам висят эстампы в почерневших золоченых рамках, шпага без темляка и шляпа с белым плюмажем. Между двух окон покрытый красным сукном стол, заваленный бумагами. В одном углу несколько полок с толстыми книгами. Перед столом широкие кресла, обтянутые черной кожей, которая прибита по краям гвоздями с медными головками. На креслах сидит Алексей Андреевич Зорин, в бухарском халате, тафтяном зеленом наглазнике и красных, шитых золотом сапожках. Подле него с бумагами стоит секретарь.

Зорин (подписав одну бумагу). Ну что, Андрей Пахомыч? Что говорят присутствующие о деле Анны Степановны Слукиной? Ведь оно на будущей неделе пойдет в доклад.

Секретарь. Да что, ваше высокоблагородие, — советник все еще ломается, никаких

резонов не принимает! А когда я стал ему докладывать, что, в силу сепаратного указа тысяча семьсот восемьдесят первого года, можно дать резолюцию в пользу челобитчицы, вдовы, статской советницы Слукиной, так он понес такую околесную, что и сказать нельзя: и новые, дескать, указы уничтожают силу предыдущих, и случайное де изменение закона, сделанное не в пример другим и в пользу одной особы, не может служить основанием для судебного приговора, и то, и се. Вот я было намекнул ему, что штрафа бояться нечего: во-первых потому, что палата во всяком случае может отозваться, что судила по крайнему своему разумению, а во-вторых потому, что всякое денежное взыскание будет обеспечено со стороны просительницы; но лишь только я это вымолвил, как он закричит!.. Господи, Боже мой! Верите ль, ваше высокородие, не знал, куда деваться!

Зорин. Чудак!.. Хорошо, хорошо. Я с ним сам об этом поговорю. *(Дверь из лакейской потихоньку растворяется.)* Кто там?

Секретарь. Андрюшка сапожник.

Андрюшка *(в синем сюртуке и кожаном*

фартуке. В одной руке шило, в другой сапожное голенище). Приехал Николай Иванович Холмин.

Зорин. Проси. А ты, братец, Андрей Пахомыч, подожди покамест в столовой. Быть может, у нас завяжется серьезный разговор. Ведь он крестный отец Варвары Николаевны.

(Секретарь кланяется и выходит в боковые двери.)

Холмин *(входя в комнату).* Здравствуйте, Алексей Андреевич!

Зорин *(идя к нему навстречу).* А, почтеннейший! Добро пожаловать! Какими судьбами?.. Прошу покорно! *(Подвигает стул.)*

Холмин *(сидясь).* Давно хотел с вами повидаться. Ну что, как поживаете?

Зорин. Плохо, батюшка, Николай Иванович, плохо! Когда хозяйки нет в доме, так какое житье?

Холмин. Хозяйки нет — так что ж? Вы, Алексей Андреевич, не в таких еще годах, чтоб вам оставаться вдовцом. Я думаю, вам и пятидесяти нет.

Зорин. Да... с небольшим.

Холмин. Так за чем же дело стало? Неуже-

ли за невестою?

Зорин (улыбаясь). Невеста, быть может, и найдется...

Холмин. Вот что? Поздравляю! А кто, если смею спросить?

Зорин. Полноте, почтеннейший! Полноте подшучивать! Чай, вы давным-давно знаете.

Холмин. Право нет.

Зорин. Да перестаньте! Как вам не знать? Вы у них человек свой.

Холмин. У кого, Алексей Андреевич?

Зорин. Да хоть у Анны Степановны.

Холмин. Слукиной? Так вы на ней хотите жениться?..

Зорин. И, нет, батюшка! Анна Степановна ни за кого не пойдет замуж, да и на что ей? Вот дело другое — девица безродная, без отца, без матери...

Холмин. Как? Так дело-то идет о моей крестной дочери?

Зорин. Что ж вы этому так удивились, Николай Иванович? Конечно, мы с ней не ровни...

Холмин. И, что вы? Не о летах речь. По мне, чем старше муж, тем лучше. Да и чего

ждать путного, если б такой ребенок, как Варенька, вышла замуж за какого-нибудь мальчишку!

Зорин. Конечно, конечно!

Холмин. Когда девушка по сиротству, или какой ни есть другой причине, выходит прежде двадцати лет замуж, так ей надобен муж не ветрогон, не слеток какой-нибудь, а человек зрелых лет, опытный и благоразумный.

Зорин. Совершенная правда.

Холмин. Хороши муж и жена, которые оба еще в куклы играют! Ведь страсть — пустое дело, Алексей Андреевич. И к молодому и к старому мужу приглядишься. Любовь пройдет, а дружба и уважение остаются.

Зорин. Правда, истинная правда!

Холмин. Нет, батюшка, я знаю, какой муж ей надобен. Человек умный (*Зорин кланяется*), солидный (*Зорин кланяется*), который не станет учиться, а других может поучить, как дом вести (*Зорин кланяется*); который ее приданого не промотает, да и своего имени не проживет (*Зорин ухмыляется*); по милости которого жена будет занимать не последнее

место в губернии (*Зорин бросает довольный взгляд на свою шляпу с белым плюмажем*); который мог бы в одно и то же время быть ее супругом и наставником. Одним словом, такой муж, как вы, Алексей Андреевич!

Зорин (*кланяясь и пожимая руку Холмина*). Помилуйте!.. Мне, право, совестно! Так вы не прочь от этого?

Холмин. Кто? Я? Да если бы это от меня зависело, так я и думать бы не стал; но вы знаете, что ее мачеха...

Зорин (*улыбаясь*). С ней-то мы как-нибудь поладим.

Холмин. Право? А что, разве уж об этом речь была?

Зорин. Как же! Сначала мы говорили все обиняками, да намеки друг другу делали; а третьего дня я просто напрямки сказал.

Холмин. Ну, что ж она?

Зорин. Почти слово дала; только просила пообождать и до времени не говорить никому.

Холмин. Вот что! Ай да Анна Степановна!.. Ну!!!

Зорин. А что такое?

Холмин. Так, ничего! Что мне в эти сплетни мешаться! Когда они от меня секретничают да не хотят со мною посоветоваться, так мое дело сторона.

Зорин. Да что ж вы такое знаете?

Холмин. Что я знаю?.. *(Помолчав несколько времени.)* Послушайте, Алексей Андреевич. Мне вас учить нечего, а на вашем месте я знал бы, как поступить. Все эти секреты да отсрочки ни к чему не ведут. Я настоятельно бы стал требовать помолвки, да не по-домашнему, а публично, торжественно, чтоб весь город знал, что вы женитесь на Вареньке. И мальчишке лет в двадцать остаться с носом вовсе не забавно; а как нашему брату, пожилому человеку, забреют затылок, так признаюсь!..

Зорин. Забреют затылок?.. Так вы полагаете, что Анна Степановна изволит надо мною потешаться?

Холмин. Я не говорю этого. И как подумаешь, так на что бы, кажется, ей вас обманывать?.. Э, да ведь у ней есть тяжёбое дело, и если оно должно скоро решиться...

Зорин. Ну, нет еще — очередь не за ним. А

позвольте вас спросить: разве у ней есть еще какие-нибудь женишки на примете?

Холмин. Женишки? Да в нашем городе, кажется, женихов довольно. Вот хоть Иван Степанович Вельский.

Зорин. Э, э, э! Губернаторский племянник!

Холмин. Да этого также обракуют. *(Поглядев вокруг себя и вполголоса.)* А разве князь Владимир Иванович...

Зорин. О, о! Вот что? Так и он также сватается за Варвару Николаевну?

Холмин *(значительно улыбаясь).* Не знаю!

Зорин. Ну, если так, то позвольте, Николай Иванович... И подлинно, это дело надо привести в ясность.

Холмин. Однако ж, смотрите, не выдавайте меня.

Зорин. Не беспокойтесь.

Холмин. Ну то-то же! Пожалуйста, чтоб это осталось между нами.

Зорин. Да уж будьте уверены! Тут и умерло.

Холмин. Правду сказать, мне бы вовсе не след мешаться в эти сплетни. Да и что мне в голову пришло? Вот то-то и есть: язык мой —

враг мой! *(Вставая.)* Ну, добро, прощайте, Алексей Андреевич. Да смотрите же!

Зорин. Не бойтесь! Мы люди присяжные, молчать умеем. Да что ж вы так изволите торопиться? Не угодно ли закусить чего-нибудь?

Холмин. Нет, я никогда не завтракаю.

Зорин. Не прикажете ли «Донского»?.. Рюмочку мадеры?

Холмин *(уходя).* Покорнейше вас благодарю.

Зорин *(проводив его до дверей передней).* Гм! Гм! Так вы, матушка Анна Степановна, финтить со мной изволите?.. Нет, моя благодетельница! Прошу не прогневаться, мы вас выведем на чистую воду; а покамест... *(Подходит к дверям.)* Андрей Пахомыч, пожалуй сюда! *(Секретарь входит.)* Так ты говоришь, что советник никак не соглашается с твоим мнением?

Секретарь. Касательно дела госпожи Слукиной?

Зорин. Да.

Секретарь. И слышать не хочет.

Зорин. А что, любезный, как ты дума-

ешь? Ведь оно в самом деле...

Секретарь. Что греха таить: плоховато, ваше высокородие!

Зорин. То-то и есть! Не худо бы его еще разок-другой прочесть со вниманием. Да время-то коротко; ведь мы слушаем его на будущей неделе?

Секретарь. Можно и отложить.

Зорин. Нет ли справок каких?

Секретарь. Как не быть! И если вы прикажете...

Зорин. Да, да, не мешает. Ступай-ка, любезный, да похлопочи об этом.

Секретарь. Слушаю-с. *(Кланяется и уходит.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

Роскошный кабинет, отделанный в готическом вкусе. Он освещается двумя окнами: одно из них с узорчатыми рамами, в которые вставлены разноцветные стекла. Пол обит цельным ковром. На длинном столе с витыми ножками множество бронзовых вещей; коллекция обделанных в золото и перламутр щеточек, гребешочков, лорнетов и трубочек;

полный прибор инструментов для чищения и подстригания ногтей и несколько чернильниц, без чернил — готических, китайских, фантастических, из бронзы, хрусталя, фарфора. Стены оклеены французскими обоями. Вместо картин и эстампов, вделанные в четырехугольные дощечки из черного дерева, миниатюрные портреты мамзель Марс, Тальони, Зонтаг, 2-жи Пасты и многих других знаменитых артисток. В одном углу — этажерка с дюжиною альбомов, кипсеков и альманахов в тисненых сафьянных и бархатных переплетках; в другом — на мраморной колонне ваза из прозрачного алебастра, и прочая, и прочая. Иван Степанович Вельский почти лежит в широких украшенных резьбою креслах; на нем сверх фланелевой фуфайки надет халат из терно. Против нею на стуле с высокой готической спинкой сидит Холмин.

Вельский (зевая). Извините, я не смел вас не принять... Но если б вы знали, как я измучен! (Зевает.) Вчера я имел дурачество сесть после ужина по пятидесяти рублей в вист с этим несносным Волгиным. Ах, какой зло-

дей!.. Полчаса думает, полчаса держится за карту, двадцать раз ее меняет. Поверите ли, мы кончили нашу партию без свечей!

Холмин. А что вы сделали?

Вельский. Проиграл.

Холмин. Немного?

Вельский. Так, безделицу! *(Зевает.)* Рублей триста, или четыреста, — не помню.

Холмин. Вы, кажется, всегда проигрываете?

Вельский. Почти.

Холмин. Так зачем вы играете?

Вельский. Для того, чтоб как-нибудь убить время. Мне надобно было приехать сюда, чтобы устроить мое имение, и вот уж я два года занимаюсь хозяйством. Это очень забавно, не спорю. Когда я до обеда порядком пошумлю с моими приказчиками, одного похваляю, другого побраню, выгоню их, наконец, из моего кабинета, отобедаю, отдохну, — вот, кажется, и день прошел, слава Богу! А с вечером-то что прикажете мне делать? Неужели ехать в здешний театр, который, хоть мне это казалось и невозможным, право еще хуже московского.

Холмин (улыбаясь). Нет, шутите!

Вельский. В самом деле. Виноват, — здесь иногда в трагедии я смеюсь, а там... о Боже мой! Но в Москве есть французский спектакль, в Москве есть даже общество; а здесь, если вас не посадят за карты, так смею спросить, как вы проведете ваш вечер? Говорить! — О чем, с кем?.. С Хопровой, — что ее горничная девка свела любовную связь с вице-губернаторским лакеем? С Елецким, — что у него взбесился полвопегий кобель и перекусал всю стаю? С губернским доктором фон Баухом, — что он делает из собственного своего табаку отличный кнастер? С Вельдюзовой, — что у ней сманили третью мадам?.. Конечно, все это имеет свою забавную сторону в первые три дня; но два года!.. Нет, Николай Иванович, холостому человеку, который ищет рассеяния в обществе, невозможно жить в провинции; а если ему придется по своим обстоятельствам заживо схоронить себя в каком-нибудь губернском городе, то он должен непременно...

Холмин. Жениться, не правда ли?

Вельский. Разумеется. Расчет самый вер-

ный. С хорошей женой ему будет весело и дома; с дурной он станет беспрестанно ссориться; следовательно, во всяком случае не умрет от этой проклятой скуки (*зевает*), которая душил меня с утра до вечера.

Холмин. Так что ж, Иван Степанович, — лекарство у вас, кажется, под руками.

Вельский (*значительно улыбаясь*). Вы думаете?

Холмин. Да мало ли у вас невест? Вот, например, Катерина Федоровна Радугина: восемнадцать лет, собой недурна, состояние хорошее, воспитана...

Вельский (*перерывая*). Прекрасно! Двух слов не умеет сказать сряду и одевается как прачка. Помилуйте, — да ее стыдно будет в люди показать.

Холмин. Я думаю, вы не скажете этого о Катеньке Лидиной. Она воспитана в Смольном монастыре, ловка, мила, собою прелесть..

Вельский. То есть молода. Впрочем, конечно, она довольно презентабельна, и если б я что-нибудь к ней чувствовал, так уж верно бы не остановился тем, что у нее ничего нет. Я не хлопочу о богатстве, однако ж...

Холмин. Понимаю. Так вам бы жениться на единственной дочери первого винного заводчика нашей губернии, у которого, как говорят, есть лежащих до полумиллиона. Конечно, Степанида Алексеевна Салковская не красавица...

Вельский. Салковская! Что вы, что вы? Да разве мой дом кунсткамера? Салковская! Побойтесь Бога! Да ее можно возить по ярмаркам, чтоб за деньги показывать.

Холмин. Ну вот то-то и есть, — на вас не угодишь.

Вельский. Да вы Бог знает кого называете.

Холмин. Как Бог знает? Я назвал вам первых здешних невест.

Вельский. А для чего же вы ни слова не говорите о вашей крестнице?

Холмин. О Вареньке?

Вельский. Да, о Варваре Николаевне.

Холмин. Для того, что, по моему мнению, одна и та же девушка не может быть в одно и то же время невестою двух женихов.

Вельский. Двух женихов? Что вы хотите сказать?

Холмин. Не погневайтесь: это еще пока-

мест семейная тайна. По-настоящему, мне бы не должно было и намекать об этом.

Вельский. Ах, сделайте милость!..

Холмин. Послушайте, Иван Степанович. Я могу вам сказать только одно, и то под большим секретом: не сватайтесь за мою крестницу; она почти помолвлена.

Вельский. За кого?

Холмин. Извините, этого я не могу вам сказать.

Вельский. Вы меня удивляете! Третьего дня тетушка говорила обо мне с Анной Степановной, и она не только не отказала, но даже подала ей большую надежду.

Холмин. Что вы говорите?

Вельский. Уверяю вас.

Холмин. Ну, это нехорошо, очень нехорошо! Эх, Анна Степановна, — вечно наделает глупостей!

Вельский. Так поэтому вы уверены...

Холмин. Теперь и сам не знаю, что подумать, — кого она дурачит: меня или вас?

Вельский *(невольюно приподымаясь с кресел)*. Меня?.. Да нет, это невозможно! *(Садится опять.)*

Холмин. Со мною, кажется, ей хитрить нечего, — так воля ваша, мне кажется, она дурачит вас.

Вельский (*с приметной досадою*). Меня? Oh, ceci est trop fort![2]. Я не люблю, чтоб меня дурачили женщины и помоложе Анны Степановны. Впрочем, я во всяком случае благодарен, что вы мне это сказали. Теперь я знаю, как мне должно поступить.

Холмин. Пойдите, пойдите! Что вы хотите делать?

Вельский. Не беспокойтесь, я вас не scomпрометирую; но сегодня же эта статская советница скажет мне решительно: принимает ли она мое предложение или нет. Я знаю, что замужество Варвары Николаевны зависит от ее воли; но если она для того, чтоб продолжать грабить свою падчерицу, будет под разными предлогами отделяться от решительного отзыва, то дядя мой, как начальник губернии, и, без сомнения, наш предводитель дворянства вступятся в положение этой несчастной сироты, тем более, что искания мои, как видно по всему, не противны Варваре Николаевне.

Холмин. В самом деле?

Вельский. А вот послушайте. Недели три тому назад мой дядя давал бал. Я приехал поздно, потому что должен был завернуть к Александру Михайловичу Тонскому, — вот к этому гусарскому офицеру. Вы, кажется, с ним знакомы?

Холмин. Да, немножко.

Вельский. Он также приглашен был на бал и просил меня заехать за ним в моей карете. Тетушка рассказала мне после все. До моего приезда на бал ваша крестница была печальна, задумчива, рассеянна, беспрестанно смотрела на двери и как будто кого-то дожидалась; но лишь только я показался на балу, она в ту же самую минуту стала весела, разговорчива — словом, совершенно переродилась. Ну, что вы на это скажете?

Холмин. Да, это недаром.

Вельский. В прошлую субботу на *déjeuner-dansant*[3] у княгини Ландышевой, когда в котильоне к ней подводили два раза меня и Тонского, — то, как вы думаете, кого она каждый раз выбирала?.. Да не забудьте, что это было в глазах ее мачехи; не забудьте также,

что Тонский танцует лучше меня и, как кажется, старается очень с ней любезничать. Меня, Николай Иванович! Оба раза меня! Смею спросить, что это значит?

Холмин. О, это явное предпочтение!

Вельский. Когда я стал в первый раз говорить ей о любви моей, так она побледнела и до того смешалась, что не могла отвечать ни слова. Конечно, не всякий постигнет настоящую причину этого испуга; но тот, кто имеет некоторый опыт, кто успел уже разгадать женское сердце, — тот без труда поймет, что значит такая необычайная робость.

Холмин. Ну, Иван Степанович, исполать вам! Да, я вижу, вы настоящий профессор в этом деле.

Вельский (улыбаясь). Опыт, Николай Иванович, опыт! Женщины имели всегда такое сильное влияние на судьбу мою! В жизни моей было столько необычайных случаев, что я... Да вы, верно, знаете французскую пословицу — *á force de forger...*[4]

Холмин. Как не знать! Однако ж, я с вами чересчур заговорился: мне еще надобно кой-куда пойти, а уж теперь, я думаю, час первый?

Вельский. Едва ли. Да постоитте, выпейте со мною чашку шоколаду,

Холмин. Я его никогда не пью. *(Вставая.)* Прощайте. Только сделайте милость, — если у вас дойдет до какого-нибудь изъяснения с Анной Степановной, так прошу вас, чтоб я был совершенно в стороне.

Вельский *(проводя его несколько шагов).* Не беспокойтесь. Я камеражей не люблю, а особливо с тех пор, как живу в провинции. Все то, что слишком обыкновенно, становится скучным. Прощайте. До свиданья!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Обширная комната. Кругом большие шкафы с книгами. В одном углу, на столе, модели разных машин, воздушный насос и полный гальванический прибор; в другом, коллекция медалей и образчики разных минералов. По стенам развешаны эстампы, гравированные с картин Вернета, и портреты Лафаета, Манюэля, Виктора Гюго, Мирабо, Байрона и леди Морган. Все шкафы и этажерки уставлены бюстами Вольтера, Руссо, Дидерота и других философов прошедшего столетия. Везде, на

окнах, в простенках, на столах, бюсты и статуи Наполеона, — большие, маленькие, бронзовые, фарфоровые, из слоновой кости, во всех возможных видах и положениях. Посреди комнаты огромный стол; на столе ящик с сигарами, переплетенные в юфть фолианты, один том Conversations-Lexicon'a, романы Жюль Жанена, Евгения Сю и Жоржа Занда; «Journal des Débats» и «Revue de deux mondes». Под столом несколько листков «Франкфуртского журнала» и целые кипы русских периодических изданий. К ножке стола привязан веревкою оборванный мальчик лет двенадцати. Князь Верхоглядов сидит в откидных вольтеровских креслах. Он держит в одной руке исписанный лист бумаги, а в другой толстый хлыст. Холмин стоит в дверях кабинета.

КНЯЗЬ (не замечая Холмина и обращаясь к мальчику). Глупое создание! Ничего не понимаешь, ничего не помнишь! Да я вколочу в тебя просвещение!.. Мало ли я толковал тебе о достоинстве человека, животное! Ну, что такое человек?

Мальчик (привязанный к ножке стола).

Человек есть творение, имеющее свободную волю...

Князь. Следовательно, никто не имеет право... Ну!

Мальчик. Никто не имеет право...

Князь. Посягать на его личность и должен... Ну!

Мальчик (*переминаясь*). И должен... и должен...

Князь (*бьет его хлыстом*). И должен поступать с ним кротко и сурово!

Мальчик (*кричит и плачет*). Ай, ай!.. Кротко и сурово... больно... больно.

Холмин. Что это вы, князь Владимир Иванович, какую науку преподаете?

Князь (*вставая*). Ах, это вы, Николай Иванович!

Холмин. Извините, что я вошел к вам без доклада: в лакейской никого нет.

Князь. Как никого? Возможно ли? (*Бежит к дверям и вдруг останавливается.*) Да, да, совсем забыл. Вы знаете, что я ненавижу эту азиатскую роскошь, и никогда не держу более четырех слуг: вчера я должен был двух отдать в солдаты...

Холмин. А третьего я сейчас повстречал: он, кажется, ведет четвертого на съезжую.

Князь. Негодяй!.. Закоренелый невежда! Как вы думаете, он не только не хотел мне верить, но даже осмелился спорить со мною, когда я стал ему толковать, что солнце гораздо более земли?.. Варвар!.. *(Отвязывает мальчика.)* Пошел в лакейскую!.. Да если ты выйдешь за ворота!.. *(Мальчик уходит.)* Прошу покорно садиться. Ну что, не слышали ли чего-нибудь нового? Правда ли, что в Петербурге входят в большое употребление артезианские колодцы?

Холмин. Нет, не слыхал. Да для чего бы это?

Князь. Какой вопрос! Помилуйте, Николай Иванович, да будем ли мы когда-нибудь европейцами?

Холмин *(улыбаясь).* А разве европеец непременно должен пить воду из артезианского колодца?

Князь. О святая Русь!.. Да неужели вы не постигаете, что отвергать все улучшения, держаться во всем старины, стоять на одном месте, когда вся Европа движется вперед, есть

самый верный признак непросвещения!

Холмин. Нет, князь, я постигаю, что хорошее перенимать вовсе не стыдно; да только вот беда — не все хорошее равно хорошо для всех. Перенимать, не думая о том, полезна ли будет эта новость собственно для нас; передразнивать иностранцев только для того, чтоб сказать: «Я иду за веком, я европеец!», — воля ваша, а это, по-моему, просто пускать пыль в глаза и увлекаться одними фразами и громкими словами, которые, конечно, имеют свою цену после сытного обеда и рюмки шампанского, но которые на тощий желудок никуда не годятся.

Князь. Да почему же вы полагаете, что хоть, например, введение артезианских колодцев...

Холмин. Чрезвычайно будет полезно в степных и безводных местах, — в этом, конечно, никто с вами спорить не станет; но в Петербурге, где подчас от воды не знают куда деться, смею вас спросить, какую пользу принесут эти артезианские колодцы?

Князь. Пользу? Пользу? Вы только думаете о пользе! Да знаете ли, сударь, что эти-то мер-

кантильные расчеты и убивают все на свете. Прошу говорить о просвещении, вышних взглядах с людьми, которые считают копейки!

Холмин. Что ж делать, князь! Каждый думает по-своему. По мне, всякое новое изобретение, служащее к улучшению общественно-го быта, тогда только достойно подражания, когда оно приносит действительную пользу не одному человеку, не одному классу людей, а целому обществу. Все то, что не облегчает труда рабочих людей, не улучшает состояния простого народа, не оживляет торговли, не уменьшает расходов на первые и необходимые потребности человека, одним словом, что не доставляет существенной и общей пользы, едва ли может быть предметом безусловного подражания. Я удивляюсь изобретательному гению человека, который придумал артезианские колодцы, и стал бы еще более удивляться тому, кто нашел бы способ извлекать из воздуха чистую речную воду; но верно бы не решился тратить и время и деньги на то, чтоб для вседневного употребления добывать воду посредством химического про-

цесса, когда могу просто зачерпнуть ее в реке. Вот, я очень понимаю всю пользу канала, который устраивается теперь близ древней нашей столицы для соединения Москвы-реки с Волгою: когда барки с товаром не должны будут отправляться из Москвы в Нижний, чтоб попасть в Петербург, так тут не трудно понять, для чего правительство учреждает это водяное сообщение.

Князь. Водяное сообщение! И, Николай Иванович, кто в наше время станет заботиться о водяных сообщениях! Да разве вы не знаете, что чугунные дороги давно уже убили все каналы?

Холмин. Может быть; но до тех пор, пока у нас нет еще чугунных дорог...

Князь. Да что у нас есть?.. Степи, леса, болота. Нам еще надобно многому учиться у иностранцев, много перенять... Нет, Николай Иванович, я совершенно согласен с одним из наших мыслителей, что мы до тех пор не поумнеем, пока не перейдем не только обычаев, но даже одежды иностранцев.

Холмин. Вот что! Вероятно, князь, это кажется до нашего простого народа, потому что

мы с вами давно уже носим фраки. А что вы думаете, — в самом деле, наш русский мужичок точно поумнеет, если вместо своего теплого овчинного тулупа наденет, а особливо зимою, холодный немецкий камзол или холстинную блузу французского крестьянина. Хоть, по правде сказать, я не очень вижу, почему наш толковый простой народ глупее французского, и когда в тысяча восемьсот четырнадцатом году мне удалось побывать во Франции...

КНЯЗЬ (*перерывая с досадою*). Да, вы были в Париже точно так же, как были в нем целые поколения башкирцев; но что от этого прибыли, когда вы смотрели на все сквозь призму этого, — извините! — квасного патриотизма, которого душа моя выносить не может. Нет, почтенный Николай Иванович, — вы человек умный, не без познаний, много читали; но несмотря на это, — признайтесь, — вы очень отстали от нашего века.

Холмин (*улыбаясь*). Статься может, князь. Я человек пожилой, бегать не мастер, да и боюсь: как раз спотыкнешься.

КНЯЗЬ. Мы этого не боимся.

Холмин. И, полноте, князь! Будто бы вы никогда и ни в чем не ошибались? Несмотря на премудрость, *глубину* и либерализм нашего века, мы точно так же, как прежде, рабы своих собственных страстей, — следовательно, ошибаемся, делаем глупости и всегда встаем против здравого смысла, если он противоречит нашему образу мыслей. В старину закоренелые невежды называли благоразумного человека вольнодумцем, а нынче его же, и может быть те же самые люди, назовут старовером, отсталым и варваром. Нет, Владимир Иванович, люди всегда останутся людьми. Да одна любовь сколько глупостей заставляет нас делать не только в молодых летах, но в годах зрелого рассудка; и если, князь, вы когда-нибудь любили...

Князь. Я?.. Если я любил?.. И вы это спрашиваете?.. У меня?

Холмин. Ого! Да вы, кажется, и теперь еще любите?

Князь. С безумием, с неистовством!

Холмин. Ай, ай, ай!

Князь. Как Ромео любил свою Жюльетту, как Дюмасов Антоний свою... свою...

Холмин. Невесту?

Князь. Нет. Жену другого.

Холмин. Ах, батюшки! Да неужели и вы так же?..

Князь (*почти с горем*). О, нет, она свободна!

Холмин. Слава Богу! Да кто ж эта красавица, которая, как видно, к крайнему вашему прискорбию, может законным образом принадлежать вам?

Князь. Она? Это фантастическое создание пламенного юга! Эта полувоздушная Пери! Эта Сильфида!.. О, как она прекрасна! Какое блаженство льется из-под ее сладострастно опущенных ресниц! Она... да неужели вы не отгадали, о ком я говорю?

Холмин. Нет, князь. Это пиитическое описание вовсе меня с толку сбило.

Князь. Виноват! Я позабыл, что ваш идеал красоты не может быть сходен с моим. Вы любите русскую красоту. По-вашему была бы только бела, да дородна, да румянец во всю щеку. А так как ваша крестная дочь бледна и худощава...

Холмин. А, так вы это говорите о Варень-

ке?

Князь. Да о ком же, Николай Иванович? Кого мог бы я назвать Сильфидою?

Холмин. Вот что! Вероятно, и вы, князь, ей также нравитесь?

Князь. О, мы давно уже понимаем друг друга. С месяц тому назад я приехал поутру к Анне Степановне; в гостиной никого не было; но на столе лежало рукоделье и белый платок, он был смочен, вымыт слезами. Этот платок был ее. Я невольно прижал его к груди, и чувство сладостное и горькое, чувство, вовсе до того мне не знакомое, как дикий зверь впилося в мое сердце. О, сколько поэзии было в этом брошенном платке! Этот платок был целая поэма!.. Она вошла в гостиную, наши взоры встретились, — и все было кончено.

Холмин. Так вы даже не говорили с ней об этом?

Князь. Нет! Один взгляд сказал мне все: я прочел в нем и настоящий ад ее положения и будущий рай моего блаженства. Мне нужно было только переговорить с ее мачехою. Тут земной язык был необходим: мы с ней поладили, и, может быть, недели через две вы по-

здравите меня женихом.

Холмин. От всего сердца. Но зачем же через две недели? Зачем не прежде?

Князь. Вот уж об этом меня не спрашивайте. Анна Степановна никак не хотела согласиться на мои просьбы и даже требовала, чтоб я от всех скрывал это, как государственную тайну.

Холмин (*значительным голосом*). Право? Послушайте, князь, делайте, что хотите, но, по-моему, чем скорее будет ваш стовор с Варенькою, тем лучше.

Князь. Вы думаете?

Холмин. Имею полное право так думать. Отвечайте откровенно: как вы полагаете, — выдавая за вас свою падчерицу, что имеет в виду Анна Степановна: ее счастье или собственную свою выгоду? Да не церемоньтесь, говорите прямо.

Князь. Ну, если вы хотите, так я думаю, что дело идет вовсе не о счастье вашей крестной дочери.

Холмин. Вот видите! Вы теперь поладили с Анной Степановной; а если кто-нибудь другой поладит с ней еще более... Вы меня пони-

маете?

Князь. Понимаю. Но разве вы имеете причины подозревать, что кто-нибудь другой...

Холмин. Я не скажу вам ничего. Только советую не соглашаться ни на какую отсрочку. Эй, князь, куйте железо, пока оно горячо! Вы не знаете Анны Степановны: она готова объявить торги и с аукциону продать свою падчерицу.

Князь. Что вы говорите?

Холмин. То, что внушает в меня искреннее желание выдать мою крестную дочь за человека, который ее достоин и за которым она, верно, будет счастлива.

Князь. Мне чрезвычайно приятно слышать, Николай Иванович... Я вам очень благодарен.

Холмин. Не беспокойтесь, князь. Вам, право, не за что меня благодарить.

Князь. Так вы думаете, что я должен...

Холмин. Настоятельно требовать, чтоб все было решено, и как можно скорее. Да оно, впрочем, и натурально. Вы сами говорите, что любите без ума Вареньку, а любовь всегда нетерпелива. Это знают все. Это даже поймет

и Анна Степановна, — ведь всякий из нас любил хоть раз в своей жизни.

Князь. Любил? И, полноте! Да знают ли у нас, что такое любовь? Могут ли холодные сердца, воспитанные на квасе, понимать это чувство, исполненное жизни и энергии? Взгляните на изображение этой неукротимой страсти во всех произведениях юной европейской словесности, — и если дыхание не сопрется в груди вашей, если волосы ваши не станут дыбом, если вы не постигнете всей прелести этих судорожных восторгов, этих неистовых порывов страсти, этой адской пытки и райского наслаждения, то сделайте милость, Николай Иванович, — кушайте на здоровье ваши соленые огурцы, живите две трети года по уши в снегу, заведите, если хотите, хозяйкою: только, Бога ради, не говорите ничего о любви!

Холмин. Слушаю, ваше сиятельство! Впрочем, если за мои грехи Господь Бог пошлет на меня горячку с пятнами, так, может быть, тогда...

Князь (*почти с презрением*). Не будемте говорить об этом! Скажите-ка лучше, увижу ли

я вас сегодня вечером у княгини Ландышевой?

Холмин. Не думаю.

Князь. Я постараюсь приехать к ней пораньше. Вот женщина, с которой еще можно провести без скуки несколько часов. Не правда ли, что она вовсе не походит на нашу русскую барыню?

Холмин *(улыбаясь)*. А мне так кажется, что очень походит. Однако ж прощайте, князь, мне пора домой!

Князь *(проводя его несколько шагов)*. Очень вам благодарен. До свиданья!

Начиная эту повесть, я, кажется, говорил уже моим читателям, что почти в каждом губернском городе дворянское общество разделяется на несколько кругов. Надобно прибавить к этому, что ни в одной из столиц этот раздел не наблюдается с такою строгостью, как в провинции. Можно было бы сравнить эти отдельные круги с индийскими кастами, если бы иногда, в табельные дни за обеденным столом у губернатора и на балах Благородного собрания, не сливались они в одно общество; но и в этих редких случаях самый высший круг отличается обыкновенно от других и туалетом и французским языком, а более всего тем свободным обращением и насмешливою улыбкою, которые, как клад, не даются деревенским мелкопоместным барышням и дочерям асессоров, стряпчих и секретарей.

Молодая вдова, княгиня Ландышева, занимала первое место в числе этих блестящих со звездий городского общества. Дом ее был сборным местом всех модных дам высшего

круга и молодых фешенебельных людей всей губернии. Княгиня Ландышева имела весьма хорошее состояние, наружность приятную и столько ума, чтоб с первого взгляда не показаться глупою: она знала наизусть множество красноречивых фраз, в которых не было ни на волос здравого смысла, и все то, чего не понимала, называла «тривиальным»; говорила весьма хорошо по-французски, не делала никогда *des liaisons dangereuses*[5] и выговор имела самый чистый. Но это еще ничего: она два раза ездила в Карлсбад, провела целое лето в Дрездене и сверх того, — о, Господи, помилуй нас грешных! — два месяца жила в Париже. Ожесточение, с которым она преследовала все русское, было бы очень забавно, если б она не так часто прибегала к этому средству выказывать европейское просвещение. Впрочем, надобно сказать правду, в этом отношении ей нечем было похвастаться перед своими приятельницами. Конечно, и наши московские барышни, — дай Бог им доброго здоровья! — не упустят случая сделать обидное сравнение между чужим и своим отечеством, но у них бывают иногда минуты милосердия

и справедливости; случается, что они похвалят отечественного художника, прочтут с удовольствием русскую книгу и даже, к ужасу своих почтенных матушек, решатся подчас назвать глупцом француза, если он точно пошлый дурак; но наши провинциальные модницы

Жестокие созданья!
Они не знают состраданья
И душат сряду всех.

Небольшой круг, которого главою была княгиня Ландышева, называл сам себя обществом людей «высокого полета», — извините, не умею лучше перевести французского выражения *de la haute volée*. В числе этих высоколетающих господ, разумеется, первые места занимали князь Владимир Иванович и Вельский, а между дамами отличались особенно высоким полетом Анна Ивановна Златопольская и Глафира Федоровна Гореглядова. Первая — женщина лет тридцати пяти, с томными глазами, глубокой чувствительностью и огромным носом, который, *par procédé*[6], называли греческим. Она жила большую часть

года в своем городском доме, ездила по балам для того, чтоб поддержать знакомство, давала у себя вечера для своей дочери, которую еще никуда не вывозила, и не мешала заниматься хозяйством своему мужу, который жил почти безвыездно в деревне, пахал землю, курил вино и ездил с собаками. Вторая, то есть Глафира Федоровна Гореглядова, лет двадцати двух, весьма приятной наружности, ловкая стройная женщина, которая так грациозно приседала, входя в комнату, и так мило припрыгивала, когда подходила целоваться с хозяйкою дома, что все девицы и молодые женщины низшего полета смотрели на нее с каким-то благоговением и удивлялись ей со страхом и трепетом. Старик, муж ее, человек богатый, но скупой и месяцев десять в году прикованный подагрой к своим вольтеровским креслам, женился на ней для того, чтоб не сидеть одному дома; а она вышла за него потому, чтоб разъезжать с утра до вечера по гостям. Сначала он сердился; потом, как следует, перестал, и чтоб не умереть от скуки, бил хлопучкою мух, выводил канареек и играл в марьяж со своим дворецким. Весь город дивился

их согласию, и все называли старика Гореглядова отменно счастливым.

Часу в седьмом вечера, в тот самый день, в который поутру Николай Иванович Холмин сделал три визита, описанные в предыдущей главе, княгиня Ландышева в ожидании гостей, которые и в провинции не съезжаются прежде девятого часа на вечер, сидела в гостиной с приятельницами своими: Златопольской и Гореглядовой. Перед ними на столе лежали две французские книги в синей красивой обертке; это были «Сцены из приватной жизни», сочинение г. Бальзака.

— «Сцены из приватной жизни!» — сказала Гореглядова (разумеется, по-французски), перебирая листы первого тома. — Это название не много обещает.

— Я получила их сегодня, — прервала княгиня. — Говорят, что они очень интересны.

— Но уж верно не так, как романы моего милого д'Арленкура, — подхватила Златопольская, закатив под лоб свои чувствительные глаза.

— И я сомневаюсь в этом, — сказала княгиня. — Кто написал «Неизвестную», «Ренегата»,

«Ипсибоэ»...

— А «Пустынника»! — вскричала Златопольская. — А «Пустынника»! Fuis, fleuve de la vallée!.. [7] О д'Арленкур!

— Я читала, однако ж, — продолжала княгиня, — в одном русском журнале, что этот Бальзак...

— Ах, перестань, ma chère! [8] — прервала Златопольская. — Что может сравниться с д'Арленкуром... Fuis, fleure de la vallée!

— Это правда, — прибавила Гореглядова. — Кто читал «Ипсибоэ», «Ренегата»...

— И знает наизусть «Пустынника», — сказала Златопольская, — тому не скоро понравится какой-нибудь Бальзак. Да он же и старый писатель! Я еще ребенком слыхала об нем от нашего французского учителя. Какая разница мой милый д'Арленкур... Oh, fuis, fleure...

— Ольга Федоровна Зарецкая! — сказал громким голосом лакей, отворяя двери гостиной.

— Ольга Федоровна! — вскричала княгиня, вставая с канапе. — Так она приехала из Москвы?.. Ах, chère amie [9], как я рада, что вы

опять с нами! — продолжала она, идя навстречу к пожилой даме, разодетой по последней моде, с преогромными *беретами* на рукавах и колоссальным током на голове.

После обыкновенных лобызаний и отрывистых фраз, которые, разумеется, должны всегда выражать искреннюю радость, хозяйка и гости уселись вокруг стола, и между ними начался следующий разговор:

Княгиня. Ах, *ma chère*, какие у вас чудные рукава! *Comme c'est joli!*[10]

Зарецкая. Да. Это самая последняя мода. Мадам Лебур поклялась мне, что этим фасоном первое платье сделано для меня.

Златопольская. Ах, как мило!

Гореглядова. Прелесть! А косынка?.. Посмотрите!

Зарецкая. Их только что привезли из Парижа. Это шали.

Княгиня. Шали... Да, да, знаю! *C'est délicieux!*[11]

Гореглядова (*тихо Златопольской*). Как все это пестро!.. А этот ток! Боже мой, в пятьдесят лет!.. *Elle est d'un ridicule achevé!*[12].

Княгиня. Ну что, *ma chère*, вы очень весе-

лились в Москве?

Зарецкая. О, не говорите мне! Я умираю от тоски.

Княгиня. Неужели?

Зарецкая. Ах, та chère, что за общество! Что за тон! Я вообразить себе не могла, чтоб в городе, который называется столицей, было так мало просвещения. Одни названия улиц выведут всякого из терпения. Например, я остановилась у моей родственницы, в собственном ее доме — как вы думаете, где? — на Плющихе!!!

Златопольская. На Плющихе? Dieu, comme c'est vulgaire![13]

Зарецкая. А как живут, та chère! Вот однажды пригласили меня на бал в один дом, помнится, за Москвой-рекой, на Зацепе...

Гореглядова. На Зацепе? Боже мой, какие *тривиальные* названия!

Княгиня. Согласитесь, что это может быть только у нас.

Зарецкая. И только в Москве. Вот мы ехали, ехали какими-то огородами, Крымским Бродом... Ужас! И что ж, вы думаете, нашли на этом бале?.. Хозяйку, которая заговорила с на-

ми по-русски, голые деревянные стены и сальные свечи в запачканных хрустальных люстрах.

Княгиня. Нет, шутите!

Зарецкая. Уверяю вас. По этому вы можете судить, как живут в Москве. В Благородном собрании я была только однажды, на масленице. Зала недурна; но что за тон, что за манеры! Молодые люди ходят взад и вперед; никто не обращает на вас никакого внимания, и если вы не хотите сидеть на скамейке, то уж, конечно, не догадаются подать вам стула. Я это испытала на себе.

Княгиня. А театр, *ma chère*?

Зарецкая. Французский — прелесть, но зато русский!.. Вы не можете себе представить!.. Что за актеры, какие названия у этих актеров! Щепкин, Репина. Ну, поверите ли, тошно слышать! А как играют!.. Меня уговорили однажды посмотреть какую-то оперу, кажется, «Волшебного стрелка». Ну, *ma chère*, признаюсь, мне стало стыдно, что я русская. Но это еще ничего. Подле меня в ложе какой-то господин, которого называли графом, начал говорить с своими дамами и хвалить игру акте-

ров, декорации, костюмы, словом, все и даже уверять их, что он видел эту оперу в Париже, и что она дается там не лучше, чем в Москве. Как вы думаете? Эти дамы, которые, впрочем, одеты были недурно и, казалось, принадлежали к хорошему обществу, слушали его, как оракула! Такое невежество вывело меня совершенно из терпения, и чтоб показать этому господину, как мне гадко было слушать его наглуую ложь, я вскочила, накинула шаль и тотчас уехала из театра.

Княгиня. Признаюсь, и я на вашем месте не усидела бы спокойно.

Гореглядова. Вы меня удивляете, Ольга Федоровна.

Княгиня. Ах, *ma chère*, чему тут удивляться? Да разве прошлого года не были у нас приезжие из Москвы. Помнишь этого князя Брянского и еще какого-то ученого? Ну вот этих, над которыми мы так смеялись, когда они объявили преважно, что *вояжируют* по России. Они не хотели сблизиться с нашим кругом, — а с кем были знакомы? С Волгиными, с Дубровиным, с Закамским, с этим невежею Холминым. Помнишь, что они говорили: «Вот

почтенные люди! Вот настоящие русские дворяне! Вот истинно просвещенные помещики!» Просвещенные!.. А первый Дубровин говорит по-французски так, что без смеха нельзя слышать.

Зарецкая. Ну, ma chère, я в Москве видела двух вояжеров англичан, которые еще хуже Дубровина коверкают несчастный французский язык.

Княгиня. И, ma bonne amie![14] Да зато они прекрасно говорят по-английски.

Зарецкая. Да, это правда. Да что это за князь Брянский, ma chère? Я что-то никогда не слыхала этой фамилии. Что он такое?

Княгиня. Как что? Он принадлежит к лучшему московскому обществу — я это знаю.

Гореглядова. О, если так, то, кажется, нам нечего перенимать у Москвы.

Златопольская. Нам перенимать? Нет, ma chère, не мы у Москвы, а Москва должна перенимать у нас.

Княгиня. Да, да! Не мешало бы ей поучиться здесь хорошему тону и спросить у нас, что значит образованный вкус.

Зарецкая (которая между тем взяла в ру-

ки одну из книг). Ах, Боже мой! Бальзак!

Княгиня. Вы его знаете, та chère?

Зарецкая. Бальзака? Какой вопрос! Вся Москва от него без ума.

Гореглядова. Неужели?

Златопольская. Однако ж, верно, д'Арленкур...

Зарецкая. Фи, та chère, что вы говорите? д'Арленкур! Да его уж никто не читает; все над ним смеются. Но Бальзак!.. Ах, Бальзак!! В Москве нет ни одной порядочной женщины, которая не знала бы его наизусть.

Княгиня. В самом деле?

Зарецкая. Да, та chère. Когда на масленице я была в Благородном собрании, кто-то сказал, что Бальзак в Москве. Потом стали говорить, что он в собрании. Боже мой, как все дамы засуетились, какая пошла тревога, шум, расспросы. Одного молодого человека, который с виду походил на француза, совсем было задушили. К счастью, он заговорил по-русски; это его спасло.

Златопольская. Ах, та chère, вы, верно, дадите мне прочесть эти книги.

Гореглядова. И мне, та bonne amie!

Княгиня. С большим удовольствием... когда прочту их сама.

Слуга (*растворяя дверь*). Анна Степановна Слукина!

Княгиня. Ну так, — всегда первая!.. Как она мне надоела! (*Идет к ней навстречу.*) Вот одолжили, Анна Степановна! Это по-приятельски. Чем ранее, тем лучше... А, Варвара Николаевна! Bon soir, mon enfant![15]

Через полчаса в гостиной княгини Ландышевой играли уже на трех столах в вист, а в зале музыканты настраивали свои инструменты. Иван Степанович Вельский и Алексей Андреевич Зорин были налицо; но Анна Степановна не взяла карточки, потому что не доставало князя Владимира Ивановича, чтоб составить ее всегдашнюю партию. Четвертого игрока найти было нетрудно, да только, может быть, он не стал бы прощать Анне Степановне ренонсы и не позволил бы ей приписывать онеров. Вот уж в гостиной стало тесно. Вот загремела музыка, и несколько вежливых кавалеров с проседью *подняли* с полдюжины почетных дам и первых чиновниц общества.

Переваливаясь с ноги на ногу, они потащились в залу, чтобы, как водится, открыть бал неизбежным "польским". Молодые люди нехотя пристали к ним, и длинный ряд танцующих, изгибаясь и изворачиваясь в разные стороны, начал прохаживаться по зале и всем открытым комнатам. В третьей паре Вельский вел Анну Степановну, которая с приметным нетерпением посматривала вокруг себя.

— Что это наш князь Владимир Иванович не едет? — сказала она, наконец, своему кавалеру. — Охота же ему терять золотое времечко! Да не сесть ли нам, батюшка Иван Степанович, втроем? Я буду играть парти-фикс с болваном.

— Князь скоро будет, — отвечал сухо Вельский, — а между тем я хочу воспользоваться его отсутствием и спросить вас: слышали ли вы, что говорят в городе?

— А что такое?

— Вы, верно, не забыли, зачем приезжала к вам третьего дня моя кузина. Вы почти дали ей слово; а несмотря на это, говорят, будто бы имеете какие-то другие виды на Варвару Николаевну. Я не хочу этому верить; но согласи-

тес, что такие слухи очень неприятны, особенно для человека, который, смею вас уверить, не привык играть жалкую роль всесветного жениха. Так извините, Анна Степановна, если я попрошу вас не откладывать моего благополучия и объявить решительно, что вы принимаете мое предложение.

— Что вы, что вы, Иван Степанович? Подумайте! Место ли здесь?..

— Да я и не прошу вас делать помолвку здесь, на бале, а если позволите, приеду к вам послезавтра с моей кузиной.

— Послезавтра? То есть в пятницу? Помилуйте, что за экстра такая и к чему так торопиться?

— Да хоть бы для того, сударыня, чтоб уронить эти вздорные слухи, столько же обидные для вас, сколько и для меня. Впрочем, я не хочу никак вас женировать; извольте, я приеду к вам не в пятницу, а в субботу; но тогда уже попрошу у вас позволения известить всех родных и приятелей о моей помолвке. После того, что вы изволили говорить моей кузине, я не смею и сомневаться...

— Помилуйте, да что ж я такое говори-

ла? — прервала с большим смущением Анна Степановна. — Конечно, я сказала ее превосходительству, что для меня весьма приятно, что я очень буду рада...

— Следовательно, вы согласны? И позвольте вам сказать. Анна Степановна, что после этого всякое с вашей стороны затруднение будет явным доказательством, что вы хотели нас дурачить, смеяться надо мною, над моей кузиной, над всем нашим семейством... Но, — виноват, — я вижу, что уж одно это обидное предположение вас огорчает. Итак, в субботу?.. Вот и "польский" кончился. Теперь я в ваших приказаниях, и если вам угодно играть втроем в вист...

Но Слукиной было не до виста. Она отказалась и села в зале между матушек, тетюшек и старших сестриц. Поиграв еще несколько минут "польский", музыка перестала, и из толпы нетерпеливых танцовщиков, между которыми было человек пять военных, раздалось, наконец, давно жданное восклицание: «Вальс!» Музыканты заиграли из «Волшебного стрелка», и этот исполненный жизни, веселый и невинный танец начался...

Невинный! Какая пошлая ирония! Какая старая, избитая насмешка! Извините, я вовсе не шучу и повторяю еще раз без всякой иронии, что этот танец точно так же невинен, как и все прочие: как щеголеватая французская кадрили, как блестящая мазурка, как давно забытые экосезы и даже как древний чопорный менуэт. Английские писатели, а вслед за ними французские, а вслед за французскими наши немилосердно клеветают на бедный и, право, безвинный вальс. Послушайте их: как сердце девушки бьется почти в одной груди с сердцем того, кто с ней танцует; как дыханья их сливаются; как шелковые волосы красавицы касаются его пылающих щек; как рука в руку, душа в душу, они не летают по гладкому паркету, отделяются от земли, живут в другом мире и прочая. Ну, прошу после этого верить печатному! Я спрашиваю всех молодых людей, что может быть невиннее этого удовольствия, и приходит ли кому из них на ум в то время, когда он вальсирует с какой-нибудь красавицей, что она почти лежит в его объятиях? Чувствует ли он какое-нибудь особенное удовольствие от того,

что рука ее покоится на его плече, и не предпочтет ли он праву обвинять своею рукою ее талию и вертеться с нею в каданс, дозволение, просто, без всяких танцев и украдкою, взять ее за руку? Почему правоверный мусульманин, не имеющий никакого понятия о наших обычаях, отвернется с отвращением от самой добродетельной женщины, которая подойдет к нему с открытым лицом, и почтительно будет смотреть на какую-нибудь Нинон Ланкло, если она окутает свою голову вуалью? Потому, что наши дамы, даже и не очень красивые, не прячут ни от кого своих лиц, а на Востоке без покрывала ходят одни только женщины, принадлежащие к самому последнему и презрительному разряду общества. Почему какая-нибудь краса Востока, пламенная черноглазая турчанка, трепещет и дрожит, как преступница, почему сердце ее замирает от восторга и ужаса, когда она откидывает назад свое покрывало перед мужчиною? Потому, что, открывая лицо свое, она делает все то же самое, что сделала бы наша русская барышня, если б сказала мужчине: «Я люблю тебя и хочу быть твоею». Теперь види-

те ли, что в нашем житейском быту не самое действие, но мысль, которую мы к нему привязываем, делает его или совершенно невинным, или решительно преступным в глазах наших? И вот почему я называю невинным танец, который, несмотря на все пиитические описания, не может возбуждать в нас никаких дурных помыслов, потому что право обнимать гибкий стан девушки и держать в руке своей ее руку принадлежит не исключительно одному, но всем, то есть каждому, кто танцует, и по этой самой причине не говорит ничего нашему воображению, не ведет нас ни к чему и, следовательно, не значит ничего.

Но, виноват: заступаясь за бедный, оклеветанный вальс, я забыл совсем про мою не столь невинную Анну Степановну. «В субботу! — повторяла она про себя, — в субботу! А дело мое слушают еще на будущей неделе... Нет, батюшка Иван Степанович, хоть вы и родня нашему губернатору, а не прогневайтесь: своя рубашка к телу ближе. Не хотелось бы мне ссориться с ее превосходительством... ну, да делать нечего!»

В эту самую минуту обе половины дверей

перед ней распахнулись, и губернаторша, в сопровождении двух дам, вошла в залу. Она сказала что-то мимоходом хозяйке и, не замечая никого, прямо подошла к Слукиной, расцеловалась, села подле нее на стуле и наговорила ей столько приятных вещей, что бедная статская советница совсем одурела, особливо, когда губернаторшины ассистентки принялись, одна перед другой, уверять ее в своей дружбе, любви и уважении. Вся твердость ее поколебалась. «Ах ты, Господи Боже мой! — думала она, когда губернаторша уселась с своим причтом за ломберный столик. — Да что же мне делать? Идти на явную ссору с ее превосходительством после таких ласк? Теперь я почти первый человек на бале... а тогда! И взглянуть-то на меня никто не захочет. Ох, да ведь они требуют приданого... непременно потребуют!.. А мое дело?.. Ахти!.. Беда, да и только!».

— Здравствуйте, матушка Анна Степановна! — сказал председатель гражданской палаты Зорин, усаживаясь подле Слукиной. — Рад сердечно, что могу с вами словечка два перемолвить. Да где же Варвара Николаевна?

— Здесь, батюшка Алексей Андреевич! Разве не видишь, танцует вот с этим гусарским офицером... как его?

— Тонским?

— Да, батюшка. Да что ж она с ним так растанцевалась!.. Не видит, что ты здесь, а то давно бы кончила, чтоб подойти к нам. Уж как она тебя уважает, Алексей Андреевич, как любит!.. Варенька, поди сюда, мой друг! Ну, вот ты все спрашивала: "Да будет ли сюда Алексей Андреевич? Да приедет ли он?.." Вот он, налицо. Ну что, успокоилась?

Бедная Варенька поглядывала с удивлением на свою мачеху, краснела, приседала и не знала, что ей отвечать.

— Как вы изволили вспотеть, Варвара Николаевна! — сказал с вежливой ужимкою Зорин, целуя у ней руку. — Словно розан раскраснелись. А что, верно, очень устать изволили?

— Нет-с! — отвечала рассеянно Варенька, поглядывая в ту сторону, где стоял прекрасный собою молодой человек в гусарском вицмундире.

— Вы, как вижу, отменно любите танцы, —

продолжал Алексей Андреевич.

— Да-с.

— Угодно вам французскую кадриль? — сказал, шаркнув ногою, долговязый недоросль с огромным хохлом и накрахмаленными брыжами.

Варенька подала ему руку, а Зорин снова обратился к Анне Степановне.

— Сегодня, матушка, я целое утро занимался вами, — сказал он вполголоса.

— Мною, Алексей Андреевич?

— То есть вашей тяжбой.

— Покорнейше вас благодарю.

— Ох, Анна Степановна, надели вы мне петлю на шею!

— Как так, батюшка?

— Да ведь дело-то ваше больно плоховато.

— Что ты, мой отец? Дело чистое, святое!

— Нет, матушка Анна Степановна, пополам с грешком. Конечно, можно бы повернуть его иначе, да чтоб оглядок не было. Ведь решение уездного суда не закон, а голословные доказательства вашего права не документы, матушка Анна Степановна!

— Ну, Алексей Андреевич, не думала я,

чтоб ты...

— Да что ж мне делать! — прервал председатель. — Я вам докладываю, что дело ваше очень плоховато. Конечно, один Бог без греха: что и говорить, как подчас не покривить душою для родного человека!..

— Ну вот то-то и есть, батюшка!

— Да ведь мы еще с вами не родня, Анна Степановна!

— Я тебе говорила, мой отец, возьми терпенья недельки на три.

— Так и вы уж, матушка, потерпите.

— Как потерпеть? А не ты ли мне сказал, что на будущей неделе?..

— Мало ли что говорится, сударыня! Да ведь я же вам не перед зеркалом это объявил, и мои слова в протокол не записаны.

— Ну, батюшка Алексей Андреевич, покорнейше благодарю!

— Да что, Анна Степановна, из пустого в порожнее переливать! Не угодно ли вам этак денька через три помолвку сделать, так я за ваше дело примусь порядком. А там, как свадьбу сыграем, так на другой день и резолюцию подмахну.

— Что ты, что ты, мой отец? Через три дня помолвка! Да ведь это не что другое — около пальца не обведешь. Через три дня! Да в уме ли ты, батюшка?

— Как угодно, Анна Степановна! Ваш разум, ваша и воля.

— И где видано? Пристал как с ножом к горлу!

— И, матушка Анна Степановна! Да коли вы сами проволочек не жалуете, так за что же и мне их любить?.. Но извините: господин Вельский сказал мне, что вы от партии отказались, так я взял карточку, и, чай, меня дожидаются. Подумайте хорошенько, матушка. Денька через два я сам у вас побываю. Честь имею кланяться!

Анна Степановна не успела еще образумиться от такого неожиданного нападения, как вдруг худощавый мужчина высокого роста, с усами и густыми черными бакенбардами, которые, сходясь под галстуком, обхватывали, как рамками, бледное лицо его, явился перед нею и молча устремил на нее свои блестящие глаза.

— Ах, князь Владимир Иванович! — вскри-

чала Слукина. — Это вы?

— Да, сударыня, это я, — прошептал князь, продолжая смотреть на нее с той «горькой» байроновской улыбкою, о которой так много говорят новейшие французские писатели. — Это я! — повторил он тихо, но таким мрачным и глухим голосом, что у статской советницы сердце замерло от ужаса.

— Ах, батюшка, ваше сиятельство, — сказала она с беспокойством, — да что с вами сделалось?

— Ничего! Безделица, самый обыкновенный случай. Представьте себе, что мне бы вздумалось понтировать и счастье всей моей жизни поставить на одну карту.

— Эх, князь, напрасно! Что вам дался этот банк? Играли бы себе да играли в вистик...

— Да! — продолжал князь, не слушая Слукиной. — Да, все блаженство, все радости, все, что привязывает нас к земле, поставлено на одной карте, и вы думаете, что я позволю банкомету передернуть?.. Вы меня понимаете?

— Нет, батюшка, не понимаю.

— Скажите мне, Анна Степановна, знаете ли вы, что такое любовь?

— Как не знать, Владимир Иванович! Я очень любила покойника.

— Любили? То есть поплакали, когда он умер, износили черное фланелевое платье и построили деревянный голубец над его могилой?

— Да, князь, я все это выполнила, как следует.

— Как следует! Нет, Анна Степановна, я говорю вам не об этой любви.

— О какой же, батюшка?

— О той, которая наполняет мою душу; о той, которая не знает и не хочет знать никаких приличий, никаких условий света, которая... Но я вижу, что мне должно говорить с вами определительнее. Эта любовь, сударыня, походит на булатный кинжал черкеса: он гладок, светел и красив, но им играть опасно. Вы меня понимаете?

— Нет, батюшка, не понимаю!

— Послушайте. Я люблю Варвару Николаевну, и если бы кто-нибудь осмелился забавляться этой страстью, шутить счастьем всей моей жизни; если б вы, Анна Степановна...

— Ах, батюшка, ваше сиятельство, что вы,

что вы?..

— Я вас спрашиваю, для чего она до сих пор не принадлежит мне? Для чего все эти отсрочки? Кажется, между нами все кончено. Мы сторговались...

— Опомнитесь, князь! Что вы говорите?

— Не прогневайтесь, Анна Степановна! Я ненавижу эту притворную вежливость, которая хочет все на свете усыпать розами. Я люблю называть вещи собственными их именами и повторяю еще раз — мы сторговались, и теперь вы не имеете никакого права продавать эту несчастную сироту с публичного торгова, как продают невольниц на базарах Востока. Она моя!

— Тише, князь! Бога ради, тише! Что вы это?..

— Скажите одно слово, и я замолчу.

— Да что это с вами сделалось? Помилуйте, с чего вы взяли, что я отступлюсь от моего обещания? Но ведь надобно также подумать и о Вареньке. Дайте ей хоть немножко к вам привыкнуть.— а то долго ли до беды? Как больно круто повернем да девка-то запрямится...

— О, об этом не беспокойтесь!

— Ну, Бог весть! Ведь она еще молода, глупа, не вдруг поймет, что жениха с четырьмя тысячами душ не встретишь на каждом перекрестке.

— Фи, что это такое? Да кто вам говорит о душах, Анна Степановна? Я вижу, мы вечно не пойдем друг друга. Послушайте: быть может, вы имеете причины откладывать нашу свадьбу, но я их не имею и говорю вам решительно: или завтра же вы меня примете, как жениха Варвары Николаевны, или весь город узнает, как вы торгуете вашей падчерицей.

— Завтра? Как завтра?

— Извольте, я дам вам двое суток на размышление. Слышите ли, Анна Степановна? Двое суток! То есть, — прибавил князь, посмотрев на свои часы, — в пятницу, ровно в полночь, Варвара Николаевна назовет меня женихом своим, а вы, — как вам угодно, — вы можете меня не называть своим сыном: я об этом не хлопочу.

Сказав это, князь кивнул слегка головою Анне Степановне и пошел отыскивать хозяйку дома.

— Да что ж это такое? — прошептала статская советница. — Что они все, прости Господи, белены что ль объелись? Ну как они вздумают стакнуться, да все трое разом ко мне пристанут? Ах, Господи! Нет, нет!.. Уберусь-ка, за добра ума, поскорей домой и завтра чем свет пошлю за Николаем Ивановичем: авось он придумает что-нибудь?.. Варенька! Варенька!.. Не слышит!.. Да что у ней за шуры-муры с этим Тонским?.. Варвара Николаевна!

— Что вам угодно? — сказала Варенька, подойдя к Анне Степановне.

— А то, сударыня, чтоб вы не изволили пребивать с каждым сорванцом, который танцует с вами на бале. О чем ты, матушка, тараторила полчаса с этим офицериком, а? Уж не подпускает ли он тебе каких-нибудь турусов на колесах? Ну то-то; у меня смотри, сударыня! Да изволь-ка взять свою шаль, мы сейчас едем.

— Как, маменька? Так рано!

— У меня голова очень разболелась.

Когда Слукина сошла с крыльца, чтоб ехать домой, она почувствовала, что кто-то подсаживает ее в карету. Этот вежливый ка-

валер был Тонский.

— Покорно вас благодарю, батюшка! — сказала она очень сухо. — Напрасно изволили трудиться!

Карета застучала по исковерканной мостовой, и кто-то через минуту проскакал мимо ее на дрожках.

— Да что ж это такое? — продолжала Слукина, помолчав несколько времени. — Что этот усач, словно осенняя муха, так в глаза мне и лезет? Куда я не люблю этих подлипал!

— А он очень вас любит и уважает, — сказала робким голосом бедная девушка.

— Право?.. А что мне, матушка, в его любви? И на какую потребу уважение этого нищего? Я и сама заметила, что он что-то не путем умильно на меня посматривает. Уж не хочет ли денег попросить взаймы?.. Пожалуй, чего доброго, прикинется, что влюблен в меня. Ведь эта голь хитра на выдумки: на обухе рожь молотит и с камня лыки дерет.

— Вы напрасно, маменька, так дурно об нем думаете. Он очень честный и хороший человек.

— Ась?.. Что, мать моя?

— Я говорю, что он честный и хороший человек.

— Право? Да что ты так за него заступаешься? Что это значит, сударыня?

— Так, маменька, ничего.

— То-то ничего. Правда, я до нынешнего дня не замечала, чтоб ты с ним пускалась в большие разговоры, да и не думаю, чтоб этот однодворец осмелился... Но как бы то ни было, а прошу вас, сударыня, вперед с ним не фамильярничать: я этого не люблю. Да вот уж мы и приехали. Ну, что сидишь? Вылезай, матушка!

Варенька выпрыгнула из кареты, и, когда обернулась назад, сердце ее забилося от радости: насупротив, в маленьком домике, светился огонек, и подле открытого окна сидел Тонский.

IV

— Голубчик, Николай Иванович, батюшка, будь отец родной: приставь голову к плечам! — так говорила Анна Степановна Слукина, когда на другой день рано поутру Холмин вошел в гостиную, в которой она его дожидалась.

— Что с вами сделалось, Анна Степановна? — спросил он, садясь подле нее на канапе.

— Ох, беда, кормилец, суцая беда! Всю ноченьку не спала; уж я вертелась с боку на бок, думала, думала!.. А что проку? Как ни кинь, все клин!

— Да что такое?

— Что, батюшка, худо! Все женихи мои взбеленились.

— Как так?

— Да так: словно заговор какой. Вчера, — да еще, слава Богу, что поодиночке, — пристали ко мне: «Реши да реши!» Я и так и сяк. Куда те! И слышать не хотят. Поверишь ли, никто больше трех дней сроку не дает! Этот фронт, шематон, губернаторский племянничек, так закидал меня словами, что я чуть бы-

ло сама не поверила, что выдаю за него Вареньку. А крапивное-то семя, выжига проклятая, Зорин, как будто бы ему черт на ухо шепнул! Формально объявил мне, что дело мое до тех пор не будет решено, пока я сама с ним не порешусь. И даже этот шальной князь, Владимир Иванович, ну вот так и напирает, — да какие речи говорит, — Господи, Боже мой, уши вянут, батюшка!

— Ну, матушка, не предсказывал ли я вам?..

— Эх, Николай Иванович! Брани меня, ругай, да только выручи!

— Выручи! Это легко сказать, Анна Степановна. Как ни вертись, как ни хитри, а надобно объявить, за кого Варенька идет замуж.

— Да лишь только я объявлю, так Зорин и Вельский...

— Что и говорить: житья вам не будет! А особенно Вельский и его семейство...

— Ох, беда, батюшка! Живую съедят. Ведь ты знаешь, какая семейка-то!

— То-то и есть. Впрочем, что ж в самом деле: не за того, так за другого, а надобно выйти замуж. Оно досадно, спору нет; да ведь нельзя

же и Вареньке разорваться. Посердятся, посердятся, да перестанут. А вот чего никогда вам не простят — что вы их обманывали, водили за нос, зазнамо дурачили.

— Так, батюшка, так!

— Ну, пусть Варенька выйдет за князя Владимира Ивановича, это еще ничего; только бы вас-то как-нибудь выгородить.

— В том-то и дело, отец мой. Постарайся, родной! Придумай что-нибудь.

— Постойте-ка!.. А что, в самом деле, Анна Степановна, — ведь вы тогда только будете в ответе, когда отдадите сами Вареньку замуж!.. Ну а если она убежит и обвенчается без вашего ведома?..

— Как убежит?

— Ну да! Если ее увезут.

— Увезут? Кто увезет?

— Разумеется, князь Владимир Иванович.

— А, понимаю! Только, воля твоя, что ему за радость увозить Вареньку, когда он и без этого может на ней жениться?

— Что за радость? Так вы вовсе его не знаете! Да он, я думаю, с тоски умирает, что должен жениться таким обыкновенным и пош-

лым образом. О, поверьте мне, Анна Степановна, — лишь только я ему намекну, что он может и даже должен увезти свою невесту, так он запрыгает от радости. Да, впрочем, это уж мое дело: не беспокойтесь.

— Но, я думаю, мне надобно прежде поговорить об этом с Варенькой?

— Что вы, что вы! Напротив, она должна думать, что все делается без вашего ведома. За скромность мою я вам ручаюсь, но я никак не поручусь вам ни за Вареньку, ни за будущего ее мужа, с которым, вероятно, она секретничать не станет. Вы, я думаю, понимаете всю важность этой тайны. И малейшее подозрение может вас совершенно погубить в общем мнении. А если, на беду, откроется вся истина, то вы совсем погибли. Весь город на вас обрушится. Чего доброго, эту невинную хитрость назовут, пожалуй, подбором, стачкою, фальшивым поступком, вмешают правительство. А вы знаете, Анна Степановна, как судят дворян за фальшивые поступки?..

— Ох, знаю, батюшка, знаю! Лишат чинов и дворянства. Да только, воля твоя, где ж тут фальшивый поступок?

— Как где! Да разве вы не должны будете принести жалобу губернатору? Разве не станете кричать, что Вареньку увезли, что она обвенчалась без вашего ведома и согласия?.. Ведь чем более вы наделаете шуму, тем невиннее будете казаться в глазах тех, которые по милости вашей останутся в дураках.

— Правда, мой отец, правда!

— Не мешайте только мне, а уж дело будет сделано. Да где Варенька?

— У себя, батюшка, на антресолях.

— Так я пойду и переговорю с нею, а вы подождите меня здесь.

Часа через полтора Холмин вошел опять в гостиную.

— Ну что, мой отец? — спросила торопливо Анна Степановна. — Уладил ли ты наше дельце?

— Кой-как уладил. Да уж чего же мне это стоило! В одном я не ошибся: Варенька точно равнодушна к князю, но убежать с ним и обвенчаться без вашего ведома никак не хотела.

— Вот что!

— Я объявил решительно, что вы никогда

не выдадите ее замуж за того, кого она любит.

— Ну!.. Что ж она?

— Заплакала, а бежать не соглашалась. Я сказал ей, что она не родная ваша дочь и не обязана вам слепым повиновением.

— Ну, ну! Что ж она?

— Согласилась со мною, а бежать не хотела. Я стал ей доказывать, что это один способ выйти замуж, что она вечно останется в девках, если будет дожидаться вашего благословения...

— Ну!

— И в этом не спорила со мною; а убежать никак не решалась.

— Этакая упрямая девчонка! Батюшкин нрав, что и говорить. Да чего ж она хотела?

— Чтоб я дал честное слово, что вы ее простите. Нечего было делать: я побожился ей, что вы торжественно и при всех ее простите. Теперь смотрите же, Анна Степановна, не введите меня в слово.

— Так она очень этого добивалась? А не знаешь ли, батюшка, на что ей мое прощение?

— Она говорит, что ей стыдно будет на лю-

дей смотреть, если вы навсегда от нее отступите.

— Право? Так у ней нет ничего другого на уме?

— А что такое?

— Так, ничего! Впрочем, мы с князем на этот счет уже объяснились; и у меня есть кой-какие документки.

— Документы? Какие документы?

— Так, батюшка, так! Вот изволишь видеть: дело мое вдове, — сохрани Господи, навяжется зять ябедник, затаскает по судам. Ведь за меня, сиротинку, вступитья некому. Так Варенька хочет непременно, чтоб я ее простила?

— Да, Анна Степановна, и я в этом дал ей честное слово.

— Ну, хорошо! Однако ж, как ты думаешь, батюшка: все-таки надобно поломаться?

— Немножко, да! Но много не советую: это будет ненатурально. Вы всегда так любили Вареньку, ваша нежность к ней всем известна, и если вы хоть крошечку пересолите, злые люди тотчас скажут, что вы играли комедию.

— Хорошо, батюшка, хорошо! А когда же?

— Чем скорее, тем лучше; а то, Бог знает, неравно еще ваши женихи как-нибудь изъяснятся между собою, так и выдумка наша ни на что не будет годиться. Я думаю, сегодня ночью.

— Сегодня?..

— Да. Скажите, что у вас голова болит. Вареньку спать не укладывайте, а сами часу в десятом лягте поживать. Она скажет своей девушке, что у ней бессонница, и этак часу в двенадцатом, пойдет гулять по саду. В задней улице подле калитки будет стоять карета, а я в моей деревне, — знаете, что верст пять отсюда, — стану их дожидаться в приходской церкви. Да уж не беспокойтесь, — все будет улажено. Вы, Анна Степановна, не извольте вставать ранее обыкновенного; а как встанете да хватитесь Вареньки, так и подымите штурм: сейчас карету, к губернатору; ревите, плачьте... Да что вам толковать! — прибавил Холмин, раскрывая свою серебряную табакерку. — Ученого учить, лишь только портить.

Слукина улыбнулась и, понюхав табаку вместе с Николаем Ивановичем, сказала с видом глубокого смирения:

— И, батюшка, где нам! Ведь я человек глупый: что на уме, то и на языке. Да делать нечего, — попробую, прикинусь как-нибудь.

— Только смотрите! — продолжал Холмин, вставая. — Если губернатор вас спросит: на кого вы имеете подозрение, не вздумайте намекнуть на князя: он изо всех Варенькиных женихов самый выгодный. Следовательно, тотчас может родиться подозрение, что тут есть с вашей стороны какая-нибудь хитрость и подбор. Стойте в одном: знать не знаю, ведаю не ведаю!

— Слушаю, батюшка.

— Прощайте же, Анна Степановна. Я отправляюсь теперь к князю, а там к себе, в деревню. Мне сегодня дела будет много, — так не погневайтесь, если я к вам уж не заеду.

Николай Иванович отправился. Вот прошло утро. Вот уж буфетчик Филька в своем засаленном сюртуке вошел в гостиную и доложил, что кушанье готово. Анна Степановна села вдвоем со своей падчерицей за стол. Они обе молчали. Как ни старалась Варенька казаться спокойною, но яркий румянец, который выступал по временам на ее бледных ще-

ках, рассеянные взоры, смущенный вид — все изобличало необыкновенное состояние ее души. Анна Степановна была также не очень спокойна; кушала очень мало, то есть не за троих, вертелась на своем стуле и беспрестанно посматривала на стенные часы с курантами, которые висели в столовой.

— Что это поделалось с нашей барыней? — шептали меж собой слуги. — Словно в воду опущенная! Словечка не вымолвит! Да и барышня-то не краше ее.

— Посмотри-ка, Парфен! — сказал буфетчик, сдавая повару непечатое блюдо. — Что за диковинка такая? Барыня не изволила сегодня и левашников кушать.

— Да, брат, это недаром! — заметил повар, посматривая с удивлением на любимое «хлебное» Анны Степановны. — Все до одного целехоньки! Ну!..

Так прошел весь день. Часу в девятом Анна Степановна стала жаловаться на головную боль, повязалась намоченным в уксусе полотенцем и беспрестанно нюхала одеколон.

— Ах, как у меня голова-то расходилась! — промолвила она наконец болезненным голо-

сом. — Лягу пораньше, авось сном пройдет. А вы, голубушки, смотрите, — продолжала она, обращаясь к своим горничным девушкам, — прошу не мешать мне спать; что бы ни случилось, не смей никто меня будить! Слышите?.. Ах, Господи, словно молотками в виски колотит! А все оттого, что совсем моциону не делаю. Да и ты, Варенька, вовсе не ходишь; все сидишь за рукодельем. Ну что хоть теперь: вечер славный, пошла бы себе гулять по саду. Эх вы, барышни, барышни, — толку-то в вас нет: или всю ночь танцуете до упаду, или целый день сидите на одном месте! В твои годы я, бывало, такую теплую ночь напролет гуляю. Ступай-ка, мой друг, ступай! Как обойдешь раз двадцать все дорожки, так завтра будешь как встрепанная. А я прилягу: авось пройдет... Ох, батюшки-светы, что за боль такая! Так голова и трещит... Прощай, Варенька, прощай, мой друг.

Прошло еще около двух часов. Вот в столовой заиграли куранты, и громкий колокольчик прозвенел одиннадцать раз сряду.

— Не дожидайся меня, Дуняша, — сказала тихим голосом Варенька. — Мне что-то не

спится; я пойду гулять по саду и разбужу тебя, когда ворочусь назад.

Дуняша, толстая девка лет тридцати, у которой давно уж глаза слипались, вышла в другую комнату, помолилась Богу, прилегла на свою постеленку и заснула мертвым сном. Варенька закутала голову платком, накинула на себя бархатную кацавейку и сошла по девичьему крыльцу на двор. Кругом все было тихо; один только дремлющий сторож постукивал от времени до времени в чугунную доску и лаяла изредка цепная собака. Робко озираясь кругом, Варенька растворила решетчатые дверцы сада и пустилась по длинной заросшей травой аллее. Ночь была лунная, но свет от полного месяца едва проникал сквозь частые ветви огромных лип, которыми обсажены были дорожки. О, как билось, как замирало сердце бедной девушки! Через несколько минут участь ее должна была навсегда решиться. Каждый шорох приводил ее в трепет: зашелестит ли ветерок между деревьями, хрустнет ли сухая ветка под ее ногою, вскрикнет ли кузнечик — все заставляло ее вздрагивать и озираться.

Случалось ли вам, — я спрашиваю это у моих читателей, а не читательниц: женская скромность помешает им отвечать откровенно, — случалось ли вам, во-первых, любить?.. Но поймите меня хорошенько: не так любить, как любят все, во второй, десятый, сотый раз, а так, как мы любим в первый раз в жизни, со всей непорочностью юной девственной души, когда честь и добродетель той, которую выбрало наше сердце, дороже нам самой жизни, когда мы не верим, а веруем и в дружбу и в любовь. Если вы испытали это чувство, если когда-нибудь, поздно вечером или в тихую весеннюю ночь, вы дожидались вашей любезной в тенистой роще, и дожидались для того только, чтоб в сотый раз повторить ей и, может быть, в первый услышать от нее: «Я люблю тебя!», то скажите мне, что происходило тогда в душе вашей? Не замирало ли сердце, не прерывалось ли ваше дыхание, когда, после многих и напрасных тревог, вы слышали наконец знакомый для вас шорох и вдали между деревьев замелькало белое платье? Если вы не забыли еще, какое производили над вами действие эти мучительные и, в то

же время, неизъяснимо приятные ощущения, то легко можете себе представить, что почувствовала Варенька, когда в недалеком от нее расстоянии раздался внятный шелест шагов. В конце аллеи, по которой она шла, две густые черемухи, сплетаясь ветвями, составляли небольшой свод, сквозь который виднелись, как в окно, светло голубые усеянные звездами небеса. Вдруг что-то темное заслонило этот отдаленный просвет.

— Это он! — шепнула Варенька, прислонясь к дереву, чтоб не упасть на землю.

Вот опять замелькали вдали звезды; опять что-то их застигло. Этот темный предмет, бросая перед собой длинную тень, быстро подвигался вперед. Вдруг светлый луч месяца прорвался сквозь частые ветви лип и облил своим мирным и тихим светом закутанного в серую шинель высокого мужчину. Варенька хотела сделать шаг вперед, но ноги ее подогнулись, и она упала почти без чувств в объятия Тонского.

— Это вы!.. Это ты, мой друг!.. — вскричал с восторгом молодой человек. — О, я не смею верить моему счастью! Мне все кажется... Да,

мой друг, да, я боюсь проснуться!

Варенька не говорила ни слова, но голова ее лежала на груди Тонского, и крупные слезы текли по ее пылающим щекам.

— Ах, если вы когда-нибудь перестанете любить меня! — прошептала она прерывающимся голосом.

— О, никогда, никогда!

— Меня некому было благословить, — продолжала Варенька, рыдая. — У меня нет ни отца, ни матери...

— Они видят мое сердце, — перервал Тонский, — и, верно, в эту минуту благословляют нас обоих. Но пойдём, мой друг! Твой крестный отец дожидается нас в церкви. О, поспеши, поспеши сказать, что ты навсегда будешь принадлежать мне!

Опираясь на руку Тонского, Варенька вышла из аллеи на обширный луг, который начинался от самого дома и оканчивался забором. Она невольно оглянулась назад, и ей показалось, что одно из окон спальни ее мачехи до половины было растворено. Между тем Тонский отпер калитку. Она опять захлопнулась, и коляска, запряженная четверкою ли-

хих коней, помчалась, как из лука стрела. На минуту оживилась молчаливая улица: вдали раздался оклик полусонного будочника, еще далее залаяли встревоженные собаки... Стук от звонкой мостовой стал все тише и тише... Вот раздался еще один едва слышный оклик часового, — и вскоре все замолкло по-прежнему.

— Ну, слава Богу, уехали! — сказала Слукина, затворяя окно. — Ух! Как гора с плеч!

Она поправила свой ночник, легла на постель и, мечтая о двух тысячах душ, которые теперь на всю жизнь и нераздельно останутся в ее единственном владении, заснула самым сладким и спокойным сном.

— Девка, девка!.. Малашка!
Горничная девушка отворила потихоньку дверь в спальню Анны Степановны и остановилась на пороге.

— Который час?

— Семь часов, сударыня.

— Как я заспалась сегодня! Да что ты там стоишь? Войди!

Горничная вошла. За нею перевалилась за порог старуха Кондратьевна, нянюшка Анны Степановны; за Кондратьевной тащилась ключница Мавра; за Маврой две пожилые сенные девушки, из-за которых виднелись головы трех или четырех прачек, — они не сме- ли войти в опочивальню их барыни и стоя- ли в уборной. На всех лицах изображались страх, смущение и какое-то робкое любопыт- ство.

— Что вы, что вы? — вскричала Слуки- на. — Зачем?

Нянюшка посмотрела на ключницу, ключ- ница поглядела на сенных девушек, сенные девушки поглядели друг на друга; но никто

не отвечал ни слова.

— Ну, что ж вы молчите? Зачем пришли? — повторила грозным голосом Слукина.

— Ах, матушка Анна Степановна! — прохрипела, наконец, Кондратьевна.

— Родная ты наша! — завопила ключница.

— Да что такое сделалось? — спросила Слукина, вставая с постели и накидывая на себя шлафрок.

— Беда, матушка! — завизжала одна из сенных девушек. — Такой грех, что и доложить не смеем.

— Да скажете ли вы мне, проклятые? — закричала Анна Степановна. — Говори хоть ты, Кондратьевна.

— Что, матушка! Несчастье, да и только. Варвара Николаевна без вести пропала.

— Как пропала?

— А так, кормилица, — сгинула да пропала. Вчера около полуночи она изволила пойти гулять в сад; Дуняшке приказала себя не дожидаться, а та сдуру-то прилегла соснуть, да и прохрапела до самого утра, окаянная. Как проснулась — глядь, барышни нет, постель не измята! Она в сад; и там никого. А калитка от-

перта! Вот как она увидела, что дело-то худо, — ко мне! Мы подняли всю дворню на ноги, общарили все мышинные норочки: нет, как нет!

— Ах, Боже мой, да что ж это значит?! Неужели Варенька убежала с каким-нибудь пострелом? Быть не может!

— Ох, кормилица, видно так! — промолвила ключница. — Я сейчас ходила купить французских хлебов к немцу булочнику, вон, что живет позади нашего сада. «Все ли у вас здорово?» — спросил он у меня. — «А что, Франц Иваныч?» — «Да так! Вчера, этак в полночь, подле калитки вашего сада стояла коляска, и я сам видел, какой-то высокий барии с барыней вышли из сада, сели в нее, да и по всем по трем!»

— Ах, Господи! Так в самом деле?! — вскричала отчаянным голосом Слукина. — Так точно, она ушла?! Карету, карету! Одеваться, скорей, сейчас! Ах, срам какой! Бегите к Николаю Ивановичу! Скажите ему, что я поскакала к губернатору. Вот до чего дожила! Что стоите? Ступайте вон!.. Антон и Филька поедут за каретою... Ах, батюшки мои светы, что это!.. Ма-

лашка, черное платье!.. Да поворачивайся, негодная!.. Государи мои, что это!.. Белый чепец!.. Да, Бога ради, карету, скорей карету!

Карету подвезли. Два дюжих лакея посадили в нее Анну Степановну, у которой с горя ноги подкосились и чуть-чуть голова держалась на плечах. Кучер ударил по лошадям, и они взяли с места рысью, — что обыкновенно случалось в одних только важных и «экстренных» случаях. Анна Степановна была очень сострадательна к животным и особенно берегла своих лошадей; правда, она кормила их одним сеном, но зато всегда ездил шагом. До губернаторского дома было далеко, и Слукина успела обдумать все и приготовиться к своей роли. Она сдернула на одну сторону чепец, растрепала волосы, перевернула наизнанку свою турецкую шаль и до тех пор нюхала скляночку с нашатырным спиртом, что глаза ее налились кровью, а веки распухли и покраснели. Вот, наконец, усталые кони остановились у подъезда губернаторского дома. Антон и Филька вынули свою барыню из кареты; почти внесли ее на руках на лестницу; потом ввели под руки в столовую и посадили в

кресла, которые подал ей вежливый губернаторский камердинер, сказав, что его превосходительство сейчас ее примет. Минут через пять двери из гостиной отворились, и вышел Николай Иванович Холмин.

— Губернатор просит вас к себе, — сказал он.

— Ах, это ты, мой отец! — вскричала Слукина. — Помоги мне, родной. Ох, батюшки мои!.. Ноги нейдут!

Николай Иванович пособил ей подняться и, ведя ее под руку, прошептал:

— Славно, Анна Степановна, славно! Нельзя лучше. Только, пожалуйста, не так налегайте — тяжело, матушка.

В гостиной встретил их губернатор; подле него стояли дворянский предводитель и доктор фон Дах.

— Успокойтесь, сударыня, — сказал губернатор, усаживая Слукину на канапе.

— Ах, батюшка, ваше превосходительство! — завопила она. — Отец ты наш!.. Помоги, спаси!

— Успокойтесь!.. Будьте уверены, я сделаю все, что от меня зависит. Я сейчас узнал от

Николая Ивановича, что Варвара Николаевна...

— Вот, ваше превосходительство, до чего я дожила! Какой позор! Уйти из моего дома!.. Убежать, Бог знает с кем!..

— Как? Так вы не знаете?..

— Нет, ваше превосходительство! Как Бог свят, не знаю.

— И не имеете даже подозрения?

— Не имею, видит Бог, не имею! Да и кого я могу подозревать? Как могло прийти мне в голову, чтоб дочь покойного моего Николая Степановича решила на такое дело? Ах, Господи, да неужели бы я стала противиться ее склонности? Уж я ли не любила, я ли не тешила ее, неблагодарную? На всех пошлюсь: в глаза ей смотрела, сдувала с нее каждую порошинку. И чем же она мне отплатила? Ах, я несчастная! Ох, тошно!.. Батюшки мои, тошно!.. Смерть моя!..

Анна Степановна закрыла глаза, голова ее скатилась на грудь, и она упала *без чувств* на канаве.

— Воды, скорей воды! — закричал губернатор. — Ей дурно!

— Однако ж она вовсе не побледнела, — заметил предводитель.

— Позвольте! — сказал доктор фон Дах, взяв за руку Слукину. — Гм, гм! — промычал он, нахмутив брови. — Пульс очень высок, весьма высок... Сильный прилив крови к голове... Посмотрите, как горит ее лицо! Э, да это может иметь серьезные последствия. Сей же час надобно пустить кровь.

— Вы думаете? — сказал Холмин.

— Да, да! Позвольте: со мною, кажется, есть ланцет. Гей, человек, тарелку... полотенце! Скорей, скорей! Не надобно терять ни минуты! Потрудитесь, Николай Иванович, заворотить рукав; хотя на правой руке... все равно!

Анна Степановна очнулась.

— Что вы, что вы? — вскричала она, отталкивая фон Даха.

— Ничего, сударыня, ничего! Потерпите одну минуту. Вам надобно непременно пустить кровь.

— Ах, батюшка, зачем, на что? Подите прочь, подите прочь!..

— Как вы себя чувствуете? — спросил губернатор.

— Крошечку получше. Ох, батюшка, ваше превосходительство, что мне делать, к чему приступить?.. Надоумите меня, посоветуйте мне!

— Если вам угодно знать мое мнение, так вот оно. Вероятно, Варвара Николаевна уже обвенчана; следовательно, этого переменить нельзя. На вашем месте я простил бы ее.

— Как, батюшка, ваше превосходительство? Вы мне советуете...

— Да вы сами говорили, что не стали бы противиться ее склонности.

— О, конечно бы не стала!.. Но рассудите милостиво!

— Я не оправдываю поступка вашей падчерицы: она дурно сделала, что не имела к вам доверенности; вы так ее любите...

— Как родную дочь! Видит Бог, как родную дочь!

— А если так, сударыня, — сказал предводитель, — так будьте же до конца нежной матерью — простите ее!

— В самом деле, Анна Степановна, — прибавил Холмин, мигнув украдкой Слукиной, — ведь, снявши голову, о волосах не плачут.

Добро бы дело-то было поправное, а то что толку и себя надрывать и их мучить? Эх, ма-тушка, простите ее!

— Ну, если все меня просят, — сказала с глубоким вздохом Слукина, — так, видно, пришлось простить...

— Но может быть, — промолвил губернатор, — тот, за кого она вышла замуж...

— Да кто бы он ни был! — перервала Слукина, — все равно! По-моему, батюшка, ваше превосходительство, прощать, так прощать. Он муж ее, так я и его буду любить, как родного сына.

— Как вы добры, Анна Степановна! — сказал предводитель.

— Что ж делать, Николай Иванович! Знаю сама, что это слабость; да уж у меня натура такая!

— Вы слышите, ваше превосходительство? — сказал вполголоса Холмин, обращаясь к губернатору. — Госпожа Слукина добровольно, по одному побуждению своего доброго сердца, прощает мою крестницу... Варенька здесь, Анна Степановна, и если вы позволите ей войти...

— Ох, постой, батюшка, постой! Дай со-
браться с духом... Сердце-то у меня, сердце...
вот так выскочить хочет!

— Право, вам не мешает пустить кровь, су-
дарыня, — шепнул доктор фон Дах. — Вы в та-
ком волнении...

— Не ваше дело, батюшка! — вскричала
Слукина. — Ну, пусть войдет, — продолжала
она, закрывая лицо обеими руками. — О Гос-
поди, укрепи меня грешную!

Боковые двери отворились, и молодые во-
шли в гостиную.

— Вот она! — сказал Холмин, подводя к
Слукиной свою крестницу.

— Ну, Варенька, Бог тебе судья! — прогово-
рила Анна Степановна, стараясь всхлипы-
вать. — Огорчила ты меня на старости! Ну, да
так и быть, Господь с тобой! Я прощаю тебя,
мой друг!.. Да где же твой муж?

— Вот он, маменька.

Слукина подняла глаза: перед нею стоял
Тонский.

На этот раз она не шутя упала в обморок, и
доктор фон Дах добился своего: он пустил ей
кровь.

Недели через две после этого приключения в собрании общества людей «высокого полета» происходил такой разговор:

Княгиня Ландышева (*обращаясь к Вельскому*). Так князь Владимир Иванович сегодня к вам не будет?

Вельский. Нет, княгиня. Я уговорил его отправиться в деревню.

Гореглядова. Что это вам вздумалось?

Вельский. Так вы не знаете? Князь хотел резаться с Тонским.

Златопольская. Ах, Боже мой! Дуэль?

Вельский. Да! И вы не можете себе представить, какого мне стоило труда доказать ему, что он навсегда сделается смешным, если станет драться с этим молокососом, и за кого же? За какую-то Варвару Николаевну Тонскую, урожденную Слукину?

Княгиня. Да неужели он в самом деле был влюблен в эту девочку?

Вельский. До безумия.

Княгиня. Впрочем, у ней очень хорошее состояние. Надобно сказать правду, Анна Сте-

пановна поступила с ней весьма благородно: она дала за ней в приданое тысячу душ.

Гореглядова. Право? О, так я понимаю, что Тонский мог в нее влюбиться. Но князь! Боже мой! Да что он нашел в ней хорошего? Une petite sottе![16]

Зарецкая. Худа, бледна, как смерть.

Гореглядова. Стекланные голубые глаза...

Княгиня. Серые, та сhère.

Гореглядова. Серые или голубые, только в них вовсе нет души.

Златопольская. А нос, та сhère, нос?.. *(Взглянув украдкою в зеркало.)* Надеюсь, его никто не назовет греческим?

Вельский. И, полноте! Охота вам говорить об этой алебастровой кукле! Мне все кажется, что ее сейчас на лотке носили.

Зарецкая. Comme vous êtes méchant![17]

Гореглядова. Для меня этот Тонский несравненно лучше своей жены. *(Взглянув исподлобья на Вельского.)* Il est assez joli garçon! [18]

Вельский. Кто, он? Да, конечно, он был бы прекрасным тамбур-мажором.

Княгиня. Да, это правда, — он недурен со-

бою, но так обыкновенен! Такие *инъобильные* формы!..

Зарецкая. Бел, румян...

Златопольская. Светлые волосы... Фи, настоящая русская физиономия!

Вельский (*улыбаясь*). Вы, кажется, не всегда это думали.

Златопольская (*повернувшись*). Ай, что вы это говорите? Полноте!

Вельский (*обращаясь к Зарецкой*). Да, мне помнится, что и вы...

Зарецкая (*ломаясь*). Кто? Я?.. *Quelle idée!*
[19]

Вельский. Если не ошибаюсь, так было время, что даже и вы, княгиня...

Княгиня (*взглянув пристально на Вельского*). Я?

Вельский. Да, да! Признайтесь, что он вам очень нравился.

Княгиня. Может быть. Я даже вам скажу, когда это было... Да, точно так: в то самое время, когда вы сватались за эту алебастровую куклу.

Гореглядова (*вспыхнув*). Как? Вельский, вы хотели на ней жениться?

Вельский (с приметным замешательством). Кто? Я?.. Жениться на Слукиной? Помилуйте!..

Княгиня. Да вы почти при мне ей делали предложение.

Гореглядова (не скрывая своей досады). Прекрасно!

Вельский (тихо Гореглядовой). Полноте. (Громко.) Как вам не стыдно, княгиня!

Княгиня. А, Вельский, вы любите шутить над другими!

Гореглядова. C'est bien, monsieur! C'est très bien![20] Так вы хотели жениться?.. (Ее начинает подергивать.)

Княгиня. Qu'avez-vous, ma chère?..[21] Что вы?

Гореглядова. Ничего!.. Dieu!..[22] Спазмы! Мне душно...

Княгиня. Человек! Человек!.. Спирту, воды! (Все суетятся около Гореглядовой.)

Гореглядова (Вельскому). Laissez moi!..[23] Ах, я задыхаюсь!.. Oh, les hommes, les hommes! [24]

Вельский. Это ничего, пройдет! (Тихо княгине.) Какая неосторожность!

Златопольская (*тихо Зарецкой*). Как она себя компрометирует!

Зарецкая. Да, ma chère! Мне ее очень жаль! Elle est si bonne!..[25] (*В сторону.*)
Поеду сейчас рассказать об этом моей кузине!

Примечания

á l'enfant — по-детски

[^^^]

2

Oh, ceci est trop fort! — O, это чересчур!

[^^^]

3

déjeuner-dansant — завтрак с танцами

[^^^]

4

á force de forger... — A force de forger on devient forgeron (франц. пословица) — по мере того как куешь, становишься сам кузнецом.

[^^^]

5

des liaisons dangereuses — опасные связи

[^^^]

6

par procédé — по установившемуся обычаю

[^^^]

Fuis, fleuve de la vallée!.. — Теки, река долины!

[^^^]

ma chère — Моя дорогая

[^^^]

chère amie — Дорогой друг

[^^^]

10

Comme c'est joli! — Как это красиво!

[^^^]

C'est délicieux! — Это восхитительно!

[^^^]

12

Elle est d'un ridicule achevé — Она невероятно смешна

[^^^]

Dieu! Comme c'est vulgaire! — Боже! Как это вульгарно!

[^^^]

bonne amie! — Дружок

[^^^]

Bon soir, mon enfant! — Добрый вечер, дитя мое!

[^^^]

Une petite sottise! — Маленькая дурочка!

[^^^]

Comme vous êtes méchant! — Как вы злы!

[^^^]

Il est assez joli garçon! — Он довольно красивый мальчик!

[^^^]

Quelle idée! — Что за мысль!

[^^^]

C'est bien, monsieur! C'est très bien! — Это хорошо, мосье! Это очень хорошо!

[^^^]

Qu'avez-vous, ma chère?.. — Что с вами, моя дорогая?

[^^^]

Dieu!.. — Боже!

[^^^]

Laissez moi!.. — Оставьте меня!

[^^^]

Oh, les hommes, les hommes! — О мужчины,
мужчины!

[^^^]

Elle eat si bonne!.. — Она так добра!

[^^^]